

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Мария Купчинова

Зов

Сборник рассказов. Зов творчества - неодолим...

Мария Купчинова

Зов. Сборник рассказов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49763623

SelfPub; 2020

Аннотация

Сборник рассказов о творчестве. В науке ли, живописи, литературе зов творчества неодолим, и слишком часто плата за него – одиночество. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Подобно тому, как произрастают фиалки	4
Зов	28
Перед рассветом	48
Фантазёры	62
1	62
2	69
3	75
4	83
5	88
Одуванчики на взлётной полосе	90

Подобно тому, как произрастают фиалки

На стене актового зала университета три больших портрета в массивных рамах. Слева – темноволосый круглолицый юноша в военном кителе; густые брови, чуть раскосые черные глаза, крепко сжатые губы. Справа – мужчина лет сорока с правильными чертами лица, одетый по моде девятнадцатого века: наглухо застегнутый сюртук, из-под шейного платка выглядывают отогнутые уголки воротника рубашки. В чем-то эти двое похожи. Быть может, это всего лишь вольность, которую позволил себе художник, но кажется, пронизательные глаза обоих смотрят сквозь время и пространство. Только к взгляду юноши примешивается обида и недоверчивость, а у старшего в глазах – усталость и понимание. Посередине – портрет мэтра. Седой, благообразный, он спокоен и полон уверенности в себе.

Профессор, пожилой солидный мужчина в несолидных вытертых джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами, рассеянно слушает докладчика и рассматривает портреты на стене. Интересно, как повели бы себя эти трое, окажись они сейчас здесь, на конференции, посвященной применению неевклидовой геометрии в физике и математике? Младший Бойяи наверняка обрадовался бы признанию, Ни-

колай Иванович воодушевился бы, глядя на молодежь, продолжающую его исследования, а король математиков... ну, на то он и король. Сказал бы: «Я предвидел это. Но вон тот, стендовый доклад слева – очень смело»...

В перерыве пленарного заседания, когда участники конференции, словно малые дети, гурьбой устремились к столам, на которых гостеприимные хозяева выставили бутерброды, печенье и разливали по чашкам чай – кофе, профессор подошел к стендовому докладу, еще раз вчитался, посмотрел фамилии авторов и улыбнулся.

Десятый «Б» мог вывести из себя ангела.

Невысокого роста, начинающий лысеть, в турецком свитере с растянутой горловиной и ботинках, старость которых не могла скрыть обувная щетка, Михаил Сергеевич на ангела походил мало. Доктор физико-математических наук, он пришел работать в школу, когда развалилась страна, казавшаяся незыблемой.

Предприятия, которые еще продолжали работать, расплачивались с работниками производимой продукцией. Академия Наук тоже продолжала работать. Но что она могла предложить своим сотрудникам? Несколько новых гипотез? Пару научных статей, объясняющих устройство мира? В 90-ые годы прошлого века это был неходовой товар. Зарплату давали очень и очень нерегулярно, а дома Михаила Сергеевича кроме жены ждали двое детей и двое стариков. Торговать

Михаил Сергеевич не умел; в школе хоть и мало, но все-таки платили.

Еще Михаил Сергеевич не умел халтурить на работе. Поэтому днем он ходил в школу, гордо назвавшуюся гимназией, а после занятий до ночи задерживался в институте, решая вопросы устройства мироздания. К счастью, физику-теоретику для работы необходимы лишь ручка и лист бумаги. На огонек в кабинет часто забегал первый аспирант Михаила Сергеевича, худющий, с волосами, вечно торчащими в разные стороны, Миша Петровский и робко просил:

– Михаил Сергеевич, можно я посижу с вами? В аспирантском общежитии так холодно.

Положим, в зданиях Академии Наук тоже практически не топили, но жена Михаила Сергеевича проявляла чудеса изобретательности, собирая из «ничего» «ссобойку», и старалась сделать ее чуть больше, зная, что муж все равно поделится с тезкой.

Ночь оставалась для подготовки к урокам и проверки тетрадей. Все бы ничего, только постоянно хотелось спать.

Вот и сейчас Михаил Сергеевич оглядывал класс и больше всего боялся стоя заснуть, так тянуло закрыть глаза.

Десятый «Б» как обычно бурлил. На двух последних партах играли в морской бой, остальных броуновское движение гоняло с места на место в поисках выплеска энергии.

Вообще-то мальчишки эти Михаилу Сергеевичу нравились. Школа находилась в «спальном» микрорайоне, и боль-

шинство учеников были из семей черныбыльских переселенцев. В гимназию они поступили не после занятий с репетиторами и не по благу, а благодаря собственным светлым головам. Правда, учиться эти светлые головы не слишком рвались – реальность за школьными дверями формировала другие приоритеты.

– Смоляков, не жаль время на игрушки тратить? – преподаватель подошел к игрокам в морской бой.

– Да ладно, Михал Сергеич, – лениво приподнялся с парты круглолицый паренек и взмахнул длинными, девчоночьими ресницами, – можно подумать сами на уроках никогда не играли.

– Нет, – честно ответил Михаил Сергеевич. – Я на всех уроках пытался построить треугольник, у которого сумма углов меньше ста восьмидесяти градусов.

– Идите, – восхищенно выдохнул сосед Смолякова по парте, рыжий, веснушчатый Сашка Денисов, – вы, что ли, геометрию совсем не учили?

– Учил, – вздохнул Михаил Сергеевич, – но надеялся: вдруг получится?

– И как? – засмеялся десятый «Б».

– Не построил, зато начал книжки читать о тех, кто сумел. Вот скажите, что вы знаете о Трансильвании?

– Там Дракула жил, – радостно сказала первая красавица класса Верочка Радкевич, изящно выставив в проход ножку в огромном ботинке на толстой рифленой подошве. Это

был последний писк подростковой моды. Обе дочери Михаила Сергеевича мечтали о такой обуви, которую их бабушка, прошедшая войну, называла «ботинками пленного венгра».

– Кроме Дракулы, в начале девятнадцатого века, в небольшой крепости Темешвар в Трансильвании служил молодой артиллерийский офицер, закончивший военно-инженерную академию в Вене. Ты, Ковальчук, сколько языков знаешь? – обратился преподаватель к верзиле, на голову выше его, увлеченно жующему жвачку и пускающему пузыри.

– Это... полтора, б... ь – добродушно улыбнулся Юрка, вызвав хохот в классе.

– Половина – это русский, – уточнил Денисов, – только мат – целиком.

– А тот офицер знал девять языков, был прекрасным танцором, играл на скрипке.

– И не было ему скучно в крепости? – скептически улыбаясь спросила Верочка, поигрывая ботинком. – С кем он там танцевал?

– С кем танцевал, не знаю, но сохранились записки современников, что однажды он был вызван на дуэль двенадцатью офицерами. Принял все вызовы, поставив условие, что в перерыве между поединками ему предоставят возможность поиграть на скрипке, и из всех поединков вышел победителем.

– Двенадцать человек убил? – жалостливо вздохнула Наташа Лукьяненко. Она всегда всех жалела, за что в классе

именовали ее «мать Тереза» и посмеивались.

– Нет, у них там действовали другие правила: до первой крови. Но скучно в крепости действительно было. И блестящий офицер нашел себе занятие, о котором его отец писал: «Я прошел весь беспросветный мрак этой ночи, и всякий светоч, всякую радость жизни в ней похоронил. Ради бога, молю тебя, оставь эту материю, страшись ее не меньше, нежели чувственных увлечений, потому, что и она может лишить тебя всего твоего времени, здоровья, покоя, всего счастья твоей жизни...».

Михаил Сергеевич, сам удивленный тем, что вдруг вспомнил давным-давно прочитанные строчки, покачнулся несколько раз с носка на пятку, оглядел класс. Вроде слушают с интересом.

– А теперь угадайте: о чем шла речь.

– Бухал, что ли? – буркнул Смоляков.

– Нет, он вообще не пил и не курил.

– Наркота?

– Думаете, в жизни больше ничего не существует? Нет, отцом офицера был известный венгерский математик Фаркаш Бойяи, по сочинениям которого в те времена обучалась вся Венгрия, и писал он о пятом постулате Евклида.

– Это про параллельные линии, которые не пересекаются, – проявила свои познания Верочка.

– Темнота, – снисходительно бросил Андриюша Немкович, – признанный лидер класса. – Через точку, не лежащую

на прямой, проходит только одна прямая, лежащая с данной прямой в плоскости и не пересекающая её.

– Верно, – кивнул Михаил Сергеевич, – но Янош Бойяи предположил, что таких прямых может быть по крайней мере две.

– Так это же геометрия Лобачевского, – Андрюша пожал плечами.

– Да, но Янош Бойяи ничего не знал о работах Лобачевского. Отец его, тоже выдающийся геометр, пытался в свое время взять эту неприступную крепость, потому и отговаривал сына от занятия, казавшегося ему бесплодной игрой мозгов.

В маленькой комнате полумрак. Худощавый молодой человек в расстегнутом военном мундире склонился над листом бумаги. Давно надо зажечь светильник, но жаль терять время. Чертежи налезают один на другой, буквы все мельче, мельче...

Юноша раздраженно отбрасывает темные пряди волос, падающие на глаза, тянется за чистым листом, но вместо него в руку попадает письмо отца: «Не пытайся одолеть теорию параллельных линий ни тем способом, который ты сообщал мне, ни каким-либо другим. Я изучил все пути до конца; я не встретил ни одной идеи, которую не разрабатывал бы» ...

– Вздор! – письмо отца летит в угол, а вместе с ним на пол

с грохотом падает чертежный прибор.

Хочешь – не хочешь, приходится вставать, с трудом возвращаясь в реальность. Дверь в комнату открывается:

– Господин младший лейтенант, быть может...

– Вон!!!

Янош Бойяи вздрагивает, испугавшись собственной вспышки гнева. Все чаще проявляются раздражительность и несдержанность, унаследованные от матери. Так он и правда восстановит против себя весь гарнизон крепости. Потом будут ходить легенды о его поединках... Но что он может поделать? Мир, который живет в голове – похож на фантастическую сказку, однако, Янош точно знает – это не бред умалишенного. Все его пространственные образы соединяются логикой, создавая новую геометрию, в которой нет изъяна. Лишь в музыке – столько же гармонии. Янош бережно достает скрипку.

Михаил Сергеевич сам увлекся. От возбуждения он говорит все быстрее, по-прежнему покачиваясь с носка на пятку и бросая короткие фразы ученикам:

– Десять лет потратил Янош Бойяи на то, чтобы довести исследования до конца. Отец не понимает работы сына, но соглашается помочь с публикацией. В 1832 году он публикует свой курс математики, приложением к которому печатает работу сына, так называемый «Аппендикс». Книгу старший Бойяи посылает другу детства, профессору Геттингенского

университета Гауссу с просьбой сообщить мнение о работе сына: «Мой сын ставит на твое мнение больше, чем на отзыв всей Европы».

Михаил Сергеевич вдруг отвлекается от рассказа:

– Кто помнит, откуда строчки:

«С душою прямо геттингенской,

Красавец, в полном цвете лет,

Поклонник Канта и поэт.

Он из Германии туманной

Привез учености плоды...»

– Ну, Михаил Сергеевич, вы всегда так, на самом интересном месте прерываетесь, – недовольно бурчит Сашка Денисов.

– Потому, что, друзья мои, книги читать надобно. Ибо сказал классик: «Вдохновение нужно в поэзии не менее, чем в геометрии».

– Это Пушкин, – робко произносит Наташа Лукьяненко. – Он о Ленском писал:

«Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный,

Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч».

– Умница, – Михаил Сергеевич улыбается, а Юрка Ковальчук смотрит на Наташу так восхищенно, что она краснеет и опускает глаза.

– В начале девятнадцатого века Геттингенский универси-

тет был популярен среди либерального дворянства России. Там учились братья Тургеневы, правовед Куницын. Помните пушкинское: «Куницыну – дань сердца и вина, он создал нас, он воспитал наш пламень»; вот поэтому Пушкин и отправил туда Ленского. А осенью 1808 года в университете прочитал свою первую лекцию о применении астрономии в мореплавании и в службе точного времени Карл Фридрих Гаусс. С этих пор имя его словно магнит притягивало в Геттингенский университет молодых людей, дерзнувших заняться математикой.

Тусклая свеча освещает небольшой стол, конторку, выкрашенную белой масляной краской, узкую софу да единственное кресло, в котором сидит, слегка наклонившись вперед, еще крепкий немолодой мужчина. Легкая черная шапочка прикрывает седые волосы, из-под длинного коричневого сюртука топорщится жилет и белая рубашка с отложным воротником.

Профессор Геттингенского университета, директор астрономической обсерватории, тот, кого уже давно называют «королем математиков» – непритязателен к быту. После смерти второй жены его мучает бессонница, и лишь наука дает возможность отвлечься.

На столе – пара неоконченных писем да книга Фаркаша Бойяи, доставленная с оказией. Когда-то, студентами, они принесли друг другу клятву в вечной дружбе... Каких толь-

ко глупостей не наделаешь в молодости. Часами тогда они беседовали о доказательстве пятого постулата Евклида, но Фаркаш ошибался в расчетах.

Гаусс отложил в сторону начатое письмо коллеге, пробежав глазами последнюю строчку: «Вот уже несколько недель, как я начал излагать письменно некоторые результаты моих собственных размышлений об этом предмете... никогда мною не записанных...». Вздохнул и неохотно распечатал сверток с присланной книгой. Судьба давно развела бывших друзей, странно, что Фаркаш упорно не хочет понять этого.

Читать чужой курс математики? Право, у него нет для этого ни времени, ни желания. Перелистнул страницы, собираясь закрыть, но в глаза бросилось: «Приложение, содержащее науку о пространстве абсолютно истинную, не зависящую от истинности или ложности аксиомы Евклида...».

Король математиков не оторвался от книги, пока не дочитал Приложение до конца. Теория молодого Бойяи содержала именно те результаты, которые Гаусс начал записывать. Что же, теперь необходимость в этом отпадает...

Гаусс сидит в излюбленной позе: кисти рук на коленях, локти опираются на подлокотники кресла, туловище слегка наклонено вперед. И не поймешь, куда устремлены пронзительные голубые глаза: то ли на неведомого автора теории, то ли вглубь себя.

«Несомненно, Юный Бойяи – гений первого ранга» – так в тот же вечер напишет Гаусс в письме своему другу Герлингу.

За окнами гимназии обыкновенная городская жизнь. Выпавший ночью снег выбелил улицы, широкой бахромой повис на ветках деревьев. Ивы, березы, рябины, обступившие гимназию, из сморщенных старых дев превратились в красавиц, лукаво поглядывающих из-под расписных снежных шалей. Впрочем, зима не торопится утвердиться окончательно: под ногами прохожих, под колесами машин снег превращается в бурю грязь, начисто забыв о своем первоначальном стремлении украсить город.

Чавкая в растаявшем снеге, подплывают к остановке автобусы. У младших классов занятия уже закончились: кто-то штурмует транспорт, а кто-то не торопится домой, скатываясь на кусках фанеры и обрывках картона с едва покрытых снегом горок.

Десятый «Б» не обращает внимания на шум и крики, доносящиеся со школьного двора.

– Да не тяните же, Михаил Сергеевич, что дальше-то, – почти подпрыгивает неугомонный Денисов.

– Дальше...

Учитель вздыхает. Он слишком хорошо знает: в научной деятельности разочарование – частый гость.

– Король математиков долго не отвечал на послание друга юности, а пришедший ответ радости не принес: «Хвалить работу твоего сына – значит, хвалить самого себя, ибо все содержание этой работы, путь по которому твой сын пошел

и результаты, которые он получил – почти полностью совпадают с моими, которые я получил уже лет тридцать – тридцать пять назад. Я действительно крайне поражен этим...»

– Десять лет жизни коту под хвост, – расстроено комментирует Сашка Денисов.

– А Лобачевский? – ревниво спрашивает Немкович. – Значит, он тоже не был первым?

Михаил Сергеевич всматривается в лица учеников. Давно он не видел таких горящих глаз, даже Ковальчук сидит, приоткрыв рот, забыв про свою жвачку.

– Лобачевский... – Михаил Сергеевич улыбается, – знаете, он бы пришелся вам по душе. В гимназии – прибил гвоздем к столу дневник задремавшего на уроке преподавателя латыни, удостоившись предсказания: «Из этого только разбойник вырастет»; в университетские годы в городском саду прокатился верхом на корове. Вы только представьте себе: публика чинно гуляет по саду: фраки, смокинги, на дамах – платья с пышными юбками до земли, шляпки, зонтики. И вдруг наперерез прогуливающимся несется во всю прыть корова, верхом на ней, вцепившись в рога, сидит Лобачевский, следом – с гиканьем и криками бегут студенты, подгоняя перепуганную корову хворостинами...

Не успел десятый «Б» отсмеяться, а Михаил Сергеевич продолжает:

– В тридцать четыре года одиннадцатью голосами против трех Лобачевского избрали ректором Казанского универси-

тета. Скажу по секрету: сегодня ни одному молодому ученому это не светит, будь он хоть трижды гением. Впрочем, гением быть во все времена непросто. За год до этого, в феврале 1826 года, Лобачевский выступил на заседании физико-математического факультета Казанского университета с докладом «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». Текст доклада не сохранился, да профессора университета, присутствовавшие на заседании, и не пытались его понять. Какие постулаты, какие теоремы... После подавления декабрьского восстания на Сенатской площади со старой геометрией не загреметь бы куда Макар телят не гонял, а этот, неугомный, все с классиками тягается...

Перед зеркалом, обрамленным золоченой резной рамой, стоит высокий, чуть сутулый мужчина в сером сюртуке и с удивлением рассматривает седую прядь в копне темно-русых волос. Когда же она появилась?

Может, когда вместе с доктором Фуксом в «дехтяных» халатах вынесли из университетской больницы первую жертву холеры и положили в костер.

Ректор университета гонит прочь воспоминания о недавних событиях: по пустынным улицам Казани, объятай холерой, ветер разносит чад и золу костров – там сжигают умерших. А на его плечах – ответственность за жизни студентов, профессоров, чиновников университета и их родствен-

ников. На полтора месяца прекратили всякое общение с городом, над университетом день и ночь клубились облака пара: здоровых и больных заставляли париться в бане, превратив в парильни все подсобные помещения университета, и удалось-таки не допустить распространения заразы. Из шестисот человек заболело всего сорок и умерло тринадцать.

Николай Иванович рассеянно крутит на пальце золотой перстень с бриллиантом – награда императора Николая I за действия во время холеры.

Уже не раз он обещал прийти к Фуксам на литературный вечер, устраиваемый женой доктора, поэтессой. Наконец, верный слову, собрался, оделся, но... как жаль терять время, и как же трудно будет удерживаться от смеха, выслушивая стихи доморощенной поэтессы. Он и сам когда-то баловался стишками, пока, прочитав Пушкина, не забросил. Беда не в том, что стихи Александры Андреевны откровенно плохи, а в том, как настойчиво выпрашивает она его мнение, ожидая похвал... Пожалуй, лучше держаться от греха подальше... И так говорят, что он превышает свои полномочия, заносчив с профессорами, снисходителен со студентами, которые потихоньку рассказывают истории о его приключениях, вроде скачек на корове. Ну, что поделаешь: у матери не было средств, чтобы учить сыновей. Повезло: взяли учиться за казенный счет, вот и поспорил с одним из богатых студентов на деньги, что прокатится на корове. Зато сколько нужных книг сумел купить...

Лобачевский снимает сюртук, педантично прячет в шкаф: матушка приучила к аккуратности и бережливости. Бог с ним, этим литературным вечером: не так уж много времени выпадает для занятия тем, к чему лежит душа.

Когда-то Николай Иванович верил, что его работы если не осчастливят, то хотя бы заинтересуют человечество. Но все более им овладевает скептицизм. «Казанский вестник» еще в 1929 году опубликовал мемуар «О началах геометрии». Прошли годы, никто из коллег не пожелал вникнуть в суть. Быть может, в Москве или Петербурге... Ходит много разговоров о математике Остроградском, преподающем в столице. Если бы хотя бы один человек понял...

– Остроградский понял? – с надеждой спрашивает Наташа Лукьяненко.

Михаил Сергеевич вздыхает:

– Тщеславие, как и обычную зависть, в научной среде никто не отменял. Остроградский, один из основателей Петербургской математической школы, с неприязнью отнесся к работе казанского коллеги. Его отзыв часто цитируют: «Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы его нельзя было понять. Он достиг этой цели; большая часть книги осталась столь же неизвестной для меня, как если бы я никогда не видал её». Более того, с подачи Остроградского появилась статья в журнале «Сын Отечества», дабы обратить внимание государя императора на того, кому он дове-

рил воспитывать в Казани студентов. В статье анонимные авторы работу Лобачевского объявили сплошной нелепостью, отказав ему даже в наличии здравого смысла.

– И никто-никто не поддержал Лобачевского? – на глазах у Наташи слезы.

– При жизни – нет. Хотя известно, что изданная в Берлине в 1840 году книга Лобачевского «Геометрические исследования по теории параллельных прямых» произвела большое впечатление на Гаусса. Однако лишь в письмах к друзьям король математиков позволял себе восхищаться автором книги. В 1842 году Гаусс даже представил Лобачевского к избранию в Гёттингенское королевское научное общество как одного из выдающихся математиков российского государства. Но признание идей Лобачевского в научном мире произошло спустя почти десять лет после его смерти, когда была опубликована переписка Гаусса.

– Но почему Гаусс не поддержал ни Лобачевского, ни Бойяи? Он, быть может, единственный, кто сумел понять, – недоумеваешь по-юношески прямолинейный и открытый Денисов.

– Корону боялся потерять, б...ь, – рявкает обычно добродушный Юрка.

– Ковальчук! Здесь девочки, – Михаил Сергеевич не расстается с надеждой перевоспитать Ковальчука, но сейчас делает замечание скорее по инерции.

– Слишком революционны были эти идеи. Гауссу не хо-

телось спорить, доказывать... Он поклонялся лишь чистой науке, а полемика могла отвлечь от работы.

– Просто Гауссу это было не нужно. И никому это не было нужно: какая разница окружающим, сколько линий можно провести через ту или иную точку? У людей другие проблемы были тогда и есть сейчас, – спокойно резюмирует Смоляков.

Кажется, он единственный из всего десятого «Б» остался равнодушен к истории открытия.

– Тебе интересно лишь то, что можно купить или продать на рынке, – голос Наташи Лукьяненко звенит, поражая несвойственной ей запальчивостью.

– Да нет, по-своему, Смоляков прав, – учитель огорченно вздыхает. – С точки зрения многих разумных людей, возможно, действительно не стоило тратить жизнь на какую-то там воображаемую геометрию.

Михаил Сергеевич зачем-то вынул носовой платок, растерянно тут же засунул в карман, продолжил негромко, медленно подбирая слова и вглядываясь в лица сидящих перед ним:

– Не знаю, поймете ли вы... Есть идеи, которые приходят и овладевают человеком. Они не спрашивают, подходящее ли для этого время, выгодно ли развивать их, и вспомнит ли автора благодарное потомство... Просто если уж оно тебя посетило – невозможно перестать думать об этом. Бой-и принадлежат слова: «Подобно тому, как фиалки весной

произрастают всюду, где светит солнце, многие идеи имеют свою эпоху, во время которой они открываются одновременно в различных местах». Как невозможно запретить фиалкам цвести, так невозможно запретить человеку думать.

Михаил Сергеевич помолчал, задумчиво улыбнулся:

– Вы только вдумайтесь: больше двух тысяч лет поколения за поколениями верили в пятый постулат Евклида, и вдруг сразу три человека, живущих в разных странах, допускают, что есть условия, когда он не исполняется, предполагают, что сумма углов в треугольнике может быть меньше 180 градусов, и на основе этого создают геометрию, положения которой парадоксальны, но, тем не менее, не содержат ничего невозможного. А что касается практического применения... Одна из наиболее популярных космологических моделей представляет Вселенную как трехмерное пространство Лобачевского, с меняющейся во времени кривизной; уравнения гравитации Эйнштейна в значительной степени воплощают в себе идеи неевклидовой геометрии; эксперименты по столкновениям элементарных частиц блестяще подтвердили, что углы, под которыми разлетаются частицы и их скорости предельно точно могут быть рассчитаны на основе формул геометрии Лобачевского... Простите, ребята, я увлекся, – смущенно прервал себя учитель.

– А Бойяи смирился с тем, что не был первым? Что с ним было потом? – Верочка Радкевич нервно накручивает на палец падающую на глаза прядь волос, позабыв про свой титул

красавицы.

– Потом все было плохо, – вздыхает Михаил Сергеевич. – В руки Яноша Бойяи попала книга Лобачевского. Он не поверил в существование такого ученого где-то в далекой России и решил, что это «геттингенский скряга» выпустил работу под псевдонимом, тем самым украв труд всей его жизни. Нервное потрясение привело к тому, что Бойяи оказался на грани помешательства.

Михаил Сергеевич грустно усмехнулся:

– Занятия наукой бывают небезопасны для здоровья.

– Лучше бы отца слушал и жил, как другие, – бормочет себе под нос Димка Смоляков.

Звонок с урока возвращает всех в реальный мир, живущий по своим законам.

В коридоре у окна нервно потирает ладони аспирант Михаила Сергеевича.

– Миша, что вы здесь делаете?

– Уезжаю я, попрощаться зашел. Отец настаивает, говорит: «Наука – баловство, а семье выживать надо». У нас и правда дома мал-мала меньше...

Михаил Сергеевич понимающе кивает головой:

– Чем собираетесь заниматься?

– Тем же, чем все. Буду ездить в Польшу, торговать...

– Удачи. И помните, Миша, надумаете вернуться – буду вам рад.

Михаил Сергеевич не отрываясь смотрит, как размахивая руками, длинный, нескладный, словно Гулливер в стране лилипутов, Миша пробирается по коридору сквозь толпу малышни, высыпавшей из продленки.

– Михаил Сергеевич, дорогой! – на щуплого профессора в вытертых джинсах обрушивается двухметровый гигант. – Как я рад вас видеть!

С трудом освободившись от объятий, немного помятый, Михаил Сергеевич улыбается представительному молодому мужчине в отлично сшитом черном костюме:

– Здравствуй, Юра. Видишь, изучаю твой доклад. Оригинальное решение задачи, эти трое одобрили бы, – Михаил Сергеевич кивает в сторону портретов.

– Правда? – видно, что собеседник искренне рад. – Мы с Наташей часто вспоминаем вас. Помните, я в гимназии мог отвечать урок, только матерясь через слово, а вы заставляли меня писать ответы в тетради и красным карандашом исправляли грамматические ошибки. Я ведь, Михаил Сергеевич, благодаря вам, русский язык выучил.

– Приму к сведению и буду гордиться, – смеется профессор.

– Подождите, я вас сейчас с соавтором познакомлю.

Ковальчук отходит и через минуту возвращается, ведя за руку стройную молодую женщину. Узкая серая юбка и нежно-розовая блузка, туфли на высоких каблуках, строго за-

крученные на затылке волосы, умелый макияж так изменили нескладную девочку-подростка, что Михаил Сергеевич не сразу узнает Наташу Лукьяненко. Опять начинаются объятия.

– Ну, вообще-то я так и подозревал, что фамилия соавтора «Лукьяненко» – не случайное совпадение, – улыбается бывший учитель, – но даже представить себе не мог, что ты, Наташа, станешь такой красавицей. Повезло Юре.

– Ага, еще как, – Ковальчук, как обычно, добродушен, – а помните, Михаил Сергеевич, как я пришел к вам совета просить перед первым в жизни свиданием? Я ведь к ней тогда и собирался.

Михаил Сергеевич смотрит на Наташу, и по губам пробегает лукавая улыбка:

– Извини, Юра, совсем забыл, начисто.

– Простите пожалуйста, – к оживленно беседующей троице подходит мужчина лет сорока с небольшим. – Михаил Сергеевич, мы с вами не знакомы, извините, что прерываю ваше общение, но, к сожалению, сразу после заседания я вынужден уехать, а очень бы хотелось передать вам одну вещь. Вы помните Мишу Петровского?

– Да, конечно, – Михаил Сергеевич мгновенно стал серьезным. – Ребята, вы извините, еще поговорим. Что с Мишей?

Незнакомец вместо ответа расстёгивает папку, достает

журнал американского физического общества.

– Я – однокурсник Миши, сейчас работаю в Иллинойском университете в Чикаго. В последнем номере Physical Review опубликована статья, вызвавшая большой интерес. Но я-то помню, Вы с Мишей еще двадцать лет назад работали над этой темой, и вроде даже статью публиковали...

Михаил Сергеевич быстро листает журнал, вздыхает:

– Работали. Выступили с докладом на республиканской конференции, но тезисы доклада так и не опубликовали: у института не было денег, бумаги, типография бастовала. Остается радоваться, что были на правильном пути. Но что с Мишей? Где он?

– Насколько я знаю, он перегонял машины из Польши и однажды не вернулся из поездки. Время такое было...

– Да, время...

Они какое-то время молчат, потом однокурсник Миши уходит, а Михаил Сергеевич еще долго стоит в опустевшем фойе, вертит в руках журнал, вспоминая своего первого аспиранта.

В актовом зале университета под пристальным взглядом трех гениев Наташа Лукьяненко тормозит мужа и шепотом спрашивает:

– Юрка, что он тебе сказал, когда ты просил совета перед свиданием? Ты же помнишь?

– Помню, – вздыхает уважаемый молодой ученый,

отвлекаясь от слушания доклада и наклоняясь к уху жены. – Не забудь вымыть ноги и надень чистые носки. Дома, сама знаешь, меня этому учить было некому.

Зов

Только что закончился дождь. Город, утомленный долгой жарой, с упоением дышал прохладным воздухом, распрямлял плечи прохожих, приподнимал на ладонях площадей налитые влагой цветники и клумбы, улыбался вымытыми окнами, звенел гомоном ребятишек, купающихся в заполненном дождевой водой бассейне неработающего фонтана

– Дашка, ты даже представить не можешь, как я рада тебя видеть!

На свете был только один человек, который позволял себе называть Дарью Сергеевну Никитину, доктора физико-математических наук, мать троих почти взрослых дочек – Дашкой. Они столкнулись «нос к носу» на выходе из метро, махнули рукой на все дела и сели за столик на веранде маленького уличного кафе.

– Давай рассказывай. Как жизнь, работа?

Круглолицая полная женщина с гладкими зачесанными назад седеющими волосами сняла очки, рассмеялась:

– Представь, Маринка, на работу меня сегодня не пустили.

– И ты опять полезла в окно? Помню-помню эту историю, как ты опаздывала на работу и пряталась от начальства, – ухоженная стройная блондинка в легком брючном костюме табачного цвета тоже не удержалась от смеха.

– Ну, в окно я уже вряд ли пролезу, – вздохнула Дарья Сергеевна. – Нет, пропуск никак не могла найти. Вроде в сумке лежал, все перерыла, перевернула – нету, а вахтерша, такая черноглазая дивчина в форме, словно апостол у входа в Рай: «Без пропуска не положено». Спасибо, аспирант мой мимо проходил, выписал временный.

Солидная женщина, профессор вдруг по-девичьи фыркает, вспомнив, как растерянно рылась в сумке, перебирая кучу ненужных визитных карточек, блокнотиков, распечатанных статей и брошюр, футляры с очками и мешочки с таблетками, а любимый аспирант Миша долго убеждал вахтершу, что перед ней стоит заведующая лабораторией теоретической физики, потом разозлился и выписал временное разрешение на вход в институт. Церемонно преподнес его научному руководителю, галантно предупредив: «Только до конца рабочего дня, Дарья Сергеевна, иначе запишут нарушение трудовой дисциплины».

– Вот поэтому мы с тобой, Маринка, и встретились, обычно я раньше девяти вечера из института не ухожу, – закончила рассказ бывшая Дашка. – Ты-то как?

– Ничего примечательного. В сорок, как положено, вышла на пенсию, работаю в училище, учу малявок танцевать, а они считают, что я зверь и издеваюсь над ними.

– Действительно зверствуешь?

– В нашем деле без боли нельзя, сама знаешь.

– Да, это мне повезло, что в четвертом классе мама насто-

яла, чтобы меня отчислили из училища: «Представляете, ей надо о прыжке, о батманах думать, а она о каких-то там нейтронах-протонах грезит...»

Молодой официант, двигаясь бесшумно и грациозно, словно тигр перед прыжком, принес заказанные кофе, пирожные, исподлобья кинул на подруг быстрый взгляд. На секунду в зеленых кошачьих глазах мелькнул охотничий азарт, но тут же сменился бесстрастной улыбкой. Дождавшись, пока официант отойдет на несколько шагов, бывшая балерина шепнула:

– Как неодобрительно на нас посмотрел... Небось сокрушается, что за его столики одни старухи садятся.

– Ну, во-первых, ты себя старухой исключительно из кокетства называешь, – улыбнулась Дарья Сергеевна, – а во-вторых, он догадывается, что мы с тобой оставим ему чаевые побольше, чем желторотые студенточки.

– Может, и так, посмотрим... Как дочки? Рисуют?

– Непрерывно. Недавно зашли в художественный салон, Ксюха потребовала купить ей лесной пейзаж «для вдохновения»... Продавец рассыпался в комплиментах по поводу ее вкуса: оказалось, выбрала самую дорогую картину. Пришлось расстаться с месячной зарплатой.

Марина внимательно посмотрела на подругу:

– Его, что ли, картина? Ты по-прежнему ходишь по художественным салонам?

– Нет, – как-то слишком поспешно ответила Дарья Сер-

геевна и, потянувшись к объемистой кожаной сумке, стала что-то искать в ней.

Марина попробовала кофе, отметила про себя: хорош и неожиданно рассердилась:

– Господи, да что ты там копаешься? Не хочешь отвечать, так и скажи, можно подумать, я тебя не знаю.

– Платок ищу, очки протереть...

– Жалкий лепет, – отрезала собеседница и, легко наклонившись, подняла выпавший из сумки конверт с тиснением, заклеенный множеством иностранных марок и штемпелями. – Держи, уронила. Что-то важное?

Дарья Сергеевна покрутила конверт в руках:

– Приглашение на конференцию в честь столетия Этторе Майорана, на Сицилию.

– Что за тип?

– Он не тип, – в голосе доктора физико-математических наук зазвенели интонации обиженной девчонки, – он гений.

– Так уж... Пряма-таки и гений. Хотя я знаю, у тебя все, кого ты любишь, гении... Этот – из той же группы?

– Этот – из группы «Ребята с улицы Панисперна», как их называли. И не я, а Энрико Ферми считал Этторе Майорана гением, равным Галилео Галилею и Исааку Ньютону. Кто такой Ферми, ты, надеюсь, знаешь? – Дарья Сергеевна надела очки и с привычно-профессорским выражением лица испытующе глянула на подругу.

– Ну, слышала... Где-то от кого-то, – улыбнулась Мари-

на, – ты что, забыла, как нам физику в училище преподавали? Небось, от тебя же и слышала...

– Основатель ядерной физики, лауреат Нобелевской премии, создатель первого ядерного реактора, считается одним из отцов атомной бомбы.

– И при чем тут какая-то улица?

Молодой мужчина, сидящий на последней скамье трамвайного вагона, с досадой сунул в карман коробку от папирос, зажал ладонями глаза и уши: «Это дребезжание трамвая выведет из себя святого. Да еще «динь-дзинь» перед каждой остановкой...». Тонкие пальцы нервно вздрагивали.

– Этторе, от кого прячешься? – раздался над головой веселый бас. – Поторопись, нам выходить.

Буркнув неизменное «динь-дзинь», желтый двухэтажный трамвай остановился. С подножки легко спрыгнул крупный молодой человек в светлых брюках и светлой рубашке с закатанными рукавами, следом – черноволосый мужчина в темном костюме. Несмотря на жару, пиджак застегнут, галстук подпирает шею. Глядя под ноги, мужчина молча поднимался по дорожке на холм, раскинувшийся вдоль улицы Панисперна, в то время, как попутчик его не умолкал:

– Жаль, что монашки только одиннадцатого августа подают на этой улице нищим хлеб с ветчиной – в память о великомученике Святом Лаврентии. Я бы с удовольствием перекусил. А ты, Этторе, успел позавтракать?

– Не болтай зря, Эмилио¹, – нахмурился приятель. Он устал от разговоров «ни о чем», от амбициозных друзей, называющих себя «ребятами с улицы Панисперна», даже от разговоров о науке, неизменно сводящихся к разжевыванию истин, которые ему понятны без объяснений. – Слушай тишину.

Чуть слышно шелестел посаженный вдоль аллеи бамбук, сквозь высокие золотистые стебли пробивалось на дорожку полосатое солнце. Где-то вдали серая ворона, уютно устроившись на пальме, призывно бросала в воздух свое: «Карр-карр». Под ногами скрипел гравий.

Навстречу – бесшумно, словно проплывая по воздуху, шла женщина в длинном синем платье. Показалось или нет, что, поравнявшись, попыталась заглянуть в глаза? Майорана проводил ее взглядом, встряхнул головой: «Пустое...». Единственное, что влекло его сейчас – обсудить решение задачи с Ферми. Пять лет назад Эмилио познакомил их, и, оказалось, лишь Ферми способен понять те мысли, которые переполняют мозг...

– Что думаешь об экспериментах Ирэн и Фредерика Жолио-Кюри? – не унимался Эмилио. Он говорил, как все молодые физики в группе Ферми, бессознательно подражая «Папе», собравшему их в коллектив единомышленников: медленно, низким голосом, до предела понижая тембр.

¹ Эмилио Сегре – итало-американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1959 г. «за открытие антипротона» (вместе с Оуэном Чемберленом).

– Ты ведь читал об этих опытах, несмотря на свое затворничество?

Майорана достал из кармана пиджака папиросную коробку, исчерканную формулами и ускорил шаг: у входа в здание физического факультета университета маячила коренастая коротконогая фигура Ферми. Пожав плечами, на ходу бросил:

– Что тут думать? Открыли «нейтральный протон», да не узнали его.

Спустя час, опустив голову, он брел той же дорогой в обратном направлении. «Папа» Ферми, прозванный так за непогрешимость в вопросах теории, поддержал предположение, что в состав ядра атома входят протоны и нейтроны, оценил расчет энергии связей... Этторе скомкал папиросную коробку с расчетами и, подбросив на ладони, точно детский мячик, отправил в урну. Пусть статьи об открытиях пишут другие. С него хватит понимания того как устроен мир и как хрупок...

Налетевший ветер легонько покачивал бамбук. В шелестении зеленых стволов вдруг померещилась пронзительная, тягучая мелодия. Казалось, она обволакивала душу и давала отдохновение мозгу.

– Твой гений тоже был отцом атомной бомбы? – лениво спросила Марина, поглядывая на то, как их официант летал на цыпочках вокруг симпатичной девчонки в рваных джин-

сах, медленно потягивающей сок и уткнувшейся в смартфон. Ей хотелось расспросить подругу о более прозаичных делах, чем какие-то там гениальные физики, но пусть выговорится. В этом Дашка не изменилась: она и в юности была способна воспламеняться и часами говорить о том, что казалось ей интересным.

Дарья Сергеевна грустно улыбнулась:

– Ферми считал: Этторе превосходит талантом любого современного ему физика, но, увы, не обладает тем, что должно быть присуще каждому мужчине – здравым смыслом. Майорана не опубликовал гипотезу о существовании нейтрона, и к тем же выводам независимо от него пришли другие физики.

Помолчала, вздохнула:

– Майорана бесследно исчез в 1938 году. Но за год до своего исчезновения он все-таки написал статью, в которой утверждал, что нейтрино, не имеющие заряда, могут быть античастицами сами себе. Именно этим объясняется прева-лирование вещества над антивеществом во вселенной. Для тебя, Маринка, это конечно, набор слов. Но если майорановское нейтрино найдут, а такая возможность, похоже, появилась у экспериментаторов – придется пересматривать Стандартную модель элементарных частиц. Так что конференция обещает быть интересной.

– Подожди, подожди, как это «исчез»? – Марина даже приподнялась от изумления.

– Купил билет на пароход, который отправлялся 25 марта 1938 году из Неаполя на Сицилию, в Палермо. Больше его никто не видел: когда пароход прибыл на место назначения, Этторио на нем не оказалось...

– Убили?

– Неизвестно. Родным он оставил записку: «У меня только одно желание – чтобы вы не одевались из-за меня в черное... носите любой другой знак траура, но не дольше трех дней. После этого храните память обо мне в сердце и, если вы на это способны, простите меня». Как-то так, по памяти. Когда-то я перевернула массу всяких источников, пытаюсь хоть что-то найти о нем...

– И?

– Маринка, все что нашла, есть в интернете. Интересуешься – посмотри. И то, что якобы человек, похожий на Майорана, обращался в неаполитанский монастырь с просьбой об убежище, но ему отказали, после чего он ушел в неизвестном направлении; и то, что после войны его следы находили в Аргентине... Много всяких слухов, домыслов. Ферми прокомментировал событие весьма скупно: «Если бы Этторе Майорана решил бесследно исчезнуть, то с его умом он бы легко это сделал»...

– А ты сама как думаешь, почему он исчез?

Дарья Сергеевна покрутила в руках чайную ложечку, смахнула с шелкового синего платья, красиво облегающего высокую грудь, невидимую пылинку, наконец подняла на по-

другу карие глаза, не утратившие с возрастом ни выразительности, ни блеска, тихо ответила:

– Ты будешь смеяться надо мной, но я думаю: он устал от одиночества, и оно его победило...

Знал бы кто-нибудь, как отчаянно хотелось Дашке в те дни счастья. Она жаждала этого душой, телом, кончиками пальцев, которые вздрагивали от жгучего желания прикоснуться к его небритой щеке... Похожая на бабочку в легком цветастом сарафанчике, с разлетающимися прядями темно-русых волос, падающими на лицо, Дашка не входила – влетала в комнату к любимому, готовая смеяться в ответ на самую слабую улыбку, плакать в ответ на любой вздох. Готовая развести все тучи над его головой, лишь бы только он позволил...

Он позволял, на несколько минут, и опять уходил в себя. Туда, где были глухие леса, пронизанные последним закатным лучом, треугольник гусей в низком небе, запотевшее от вечерней росы зеркальце – то ли озеро, то ли болотце. А еще поросшая по берегу реки осока и пойманная мальчишкой щука... Покосившиеся дома деревень, доживающие в них свой век угрюмые старики, да благословляющие случайно заглянувшего путника старухи, на худых руках которых топорщились вены, словно набухшие в половодье реки... Много всякого, самого разного было в мире человека, которого Дашка любила. Только охранником на пороге это-

го мира, словно цепной пес, вывесивший язык, стояло одиночество... Одиночество, которое, сколько ни билась Даша, никак не получалось разделить на двоих.

От этого хотелось плакать, но любимый кривился: ненави-дел женские слезы, и Дашка терпела. С надеждой заглядывала в прищуренные синие глаза, затаившиеся в сетке морщинок, проводила ладонью по трехдневной щетине, короткому ежику на голове... Он не готовился к ее приходам и не пытался задержать, когда уходила. Торопливо целовал в ответ, бросал: «Ты же знаешь, я тоже...» – слово «люблю» он бессознательно пропускал: сколько можно говорить об одном и том же. И спешил вернуться в мастерскую. Туда, где валялись на подоконнике окурки и забытые надкушенные бутерброды, катались по полу банки из-под пива, запах красок довольно часто перебивался перегаром, а в углах, повернутые холстом к стене, стояли десятки картин без рам, на которых ветер гнал по небу тяжелые дождевые облака, трепетал единственный лист на дереве или, раскинув блестящие черные крылья, парил в мареве жаркого дня красавец орлан. Непостижимым образом художнику удавалось передать ощущение последнего мгновения покоя, предшествующего ливню, секунду спустя хлынувшему на землю, броску орлана на добычу или полету оторвавшегося листка... Критики (а еще больше критикессы, задыхавшиеся от восторга с прижатыми к плоским грудям кулачками) видели в художнике продолжателя то ли Левитана, то ли Куинджи, в ответ на что он

скептически улыбался. Он-то знал, что ничьим продолжателем не был, и то, что писал, – был только его мир, рожденный его фантазией, его взглядом на жизнь и его одиночеством. Одиночество было платой за возможность творить и быть не похожим на других.

Смешная, наивная Дашка этого не понимала и не могла смириться. А он не мог терять время на то, чтобы ее утешать и успокаивать: слишком силен был зов, надо было успеть написать все то, что стояло перед глазами, требуя воплощения.

Когда ощущение собственной ненужности стало уж совсем нестерпимым, Дашка ушла. В конце концов, они взрослые люди. Никто никому ничего не должен... Но еще долго после расставания заходила в художественный салон, стояла перед двумя последними работами художника. На одной – счастливый мальчик с удочкой в руке, на другой – пустая комната, распахнутое настежь окно и занавеска, раздуваемая сквозняком. До боли в глазах всматривалась в картины, пока не перехватывало дыхание и не начинали дрожать губы...

Впрочем, настало время, когда и это прошло, Дашка стала судорожно, как одержимая, заниматься физикой, не позволяя себе ни вспоминать, ни задумываться о чем-то кроме работы. Довольно быстро защитила кандидатскую диссертацию, через пять лет – докторскую. В них не было великих открытий, но в узком кругу физиков-теоретиков, как местных, так и зарубежных, ее работы отмечали, на них ссылались, а коллега, работавший вместе с ней на кафедре, усту-

пил свою очередь на защиту докторской, сказав: «Тебе ведь еще детей рожать...». Она рассмеялась, глядя в его восточные влажные глаза:

– Это что, Рустам, предложение?

– Считай, что «да».

Через полгода они поженились, а потом одна за другой родились три девчонки. Вопреки законам генетики у всех троих были яркие синие глаза и способности к рисованию.

Июльский вечер терял краски, размывая очертания предметов, словно приберегал всю палитру для исступления в небе: прозрачная голубизна сменилась насыщенно-синим с тонким росчерком темно-фиолетовых облаков, в промежутке между крышами зданий терялись оттенки светло-желтого, постепенно переходящие в розовый, и совсем далеко отсвечивающие исступленно-багровым...

В маленьком кафе было уютно. Щуплый вихрастый парнишка в концертном пиджаке с бабочкой, устроившись у стойки бара, негромко играл на флейте. Мелодия сжимала сердце, ей вторил ветер, шелестевший листьями склонившихся над столиками деревьев, а крохотные настольные лампы, вспыхнувшие на столах, напоминали мерцание светлячков.

Дождавшись, пока на чистой, прозрачной ноте затихнет пронзительная мелодия, Марина вздохнула и подозвала официанта:

– Не подскажите, кто этот мальчик, который так играет?

В ответ пожатие плечами:

– Не знаю, он приходит каждый вечер. Наверно, из консерваторских; они забегают в кафе подрабатывать, благо мы рядом, а хозяин распорядился не прогонять.

– Пожалуйста, передайте ему вместе с нашим «Спасибо», – Марина вынула из кошелька довольно крупную купюру, – и, будьте добры, еще по сто пятьдесят «Мартини» со льдом и лимоном, ну, и какие-нибудь бутерброды закусить.

– Маринка, ты что? – удивилась Дарья Сергеевна. – Уже по домам пора.

– Ну уж нет, пока ты мне всё про своего гения не расскажешь, никуда мы не пойдем. Что ты там говорила о следах в Аргентине?

– Ленишься сама заглянуть в интернет? – улыбка слегка коснулась губ, но в глазах светилась тоска. То ли печальная мелодия грусть навеяла, то ли вспомнилось что-то...

Дарья Сергеевна тряхнула головой, отгоняя воспоминания, повертела в руках бокал с «Мартини»:

– Есть несколько свидетельств якобы пребывания Майорана в Аргентине. Все они не слишком достоверны: хочешь – верь, хочешь – нет. Вот тебе одно из них. В 1960 году чилийский физик Карлос Ривера, находясь в ресторане Буэнос-Айреса, в ожидании заказа пытался решить какую-то физическую задачу и писал на салфетке формулы. Подошел официант, извинился, что заставил клиента долго ждать, и с нежн-

данным энтузиазмом сказал: «У нас иногда обедает еще один человек, который тоже пишет на салфетках формулы. Мы называем его между собой сеньор Тео. До войны он был известным физиком у себя на родине, если не ошибаюсь, тогда его звали Этторе Майорана».

– Ну, знаешь, – Марина скептически поджала губы, – тут ты права: в это свидетельство верится слабо. Твой Этторе специально уехал куда-то, чтобы перестать заниматься физикой, и вдруг пишет формулы на салфетках... Не верю.

Подруга только пожала плечами:

– Ты не знаешь этих людей. Разные, конечно, бывают, но есть и такие, кто дышит этими формулами, вместо воздуха... Хочешь расскажу случай из жизни? Как-то пришел ко мне домой аспирант, Миша Левцов. Сидим, работаем, а Рустам вдруг восточное гостеприимство обуяло: во чтобы то ни стало надо ему в неформальной обстановке с молодым поколением побеседовать о физике. Пришлось стол накрыть. Рустам редко пьет, но с возрастом стал быстро пьянеть. Я Мишке намекаю, что уходить пора, а Рустам его за плечи обнимает: «Ты мой гость, я тебя проводить должен, хоть до троллейбуса». Не могу же я одного мужа в таком состоянии отпустить, пришлось смиренно, как истинной восточной жене, – тут Дашка, прорвавшаяся сквозь солидность Дарьи Сергеевны, хихикнула, и Марина ее поддержала, – склонить глаза долу и сопровождать этих пьянчужек. На троллейбусной остановке, как назло, пивной ларек. Мишка сразу за пи-

во, ну, он молодой, ему хоть бы что, а я за Рустама испугалась: вдруг сердце прихватит, что тогда делать? На лавочке возле остановки какой-то грязный бомж развалился, даже присесть негде. Физики мои вспомнили последнее заседание Ученого совета, обсуждают представленную на защиту диссертацию, Мишка горячится: «Представляете, Рустам Ибрагимович, диссертант ссылается на формулу, в которой в знаменателе выражение к нулю сводится. Бред это все. Не может такого быть». Рустам головой кивает, а я смотрю: бомж глаза приоткрыл и время от времени на спорщиков моих внимательно поглядывает. Тут троллейбус подошел. Бомж метнулся в троллейбус, и с подножки кричит: «Ребята, вы не правы. Выражение, стремящееся к нулю, очень даже может стоять в знаменателе. Возможны разные варианты. И может быть очень интересная физическая интерпретация». Ой, Маринка, видела бы ты лица и Рустама, и Мишки... По-моему, оба сразу протрезвели. И еще около месяца потом различные варианты просчитывали. Хорошую работу сделали, опубликовали в журнале *Physical Review* с посвящением: «Неизвестному советчику, указавшему верное направление». Ладно, Маринка, пойдем, поздно уже.

Они уже расплатились и встали, когда к столику приблизился юноша-флейтист:

– Простите, вижу, что опоздал: слишком долго собирался с духом. Может быть... – вздохнул и замолчал.

– Смелее, молодой человек.

Музыкант смущенно пробормотал:

– Хотел сыграть для вас. Не думайте, не из-за денег...

Поднял голову, на серо-голубые глаза упала темно-русая мальчишечья челка.

– Дома нельзя заниматься: соседи говорят, мешаю. Папа, когда был жив, умел укрощать их, а у меня не получается, – застенчиво улыбнулся, – здесь, в кафе – кто-то, как вы, прислушается – и радостно становится: не зря учился...

Марина мягко улыбнулась, села сама, потянула Дашу за руку:

– Садись. Как вас звать, юноша?

– Гарик. Извините, Игорь...

– Конечно, Игорь, мы с радостью послушаем.

– А я с радостью сыграю, – он поднес флейту к губам, взглянул виновато, – простите, грустно будет. Папа говорил: флейта в любом оркестре одинока...

Тягучая мелодия флейты парила над столиками кафе, пробуждая в душах томление о безвозвратно утерянном, обещая несбывшееся, уводя за собой...

Дома Дарья Сергеевна долго не могла уснуть. Чтобы не будить мужа и дочек, стояла на кухне у окна, рассматривала знакомую до мелочей площадку возле дома, на которой разноцветными кляксами застыли автомобили; кроны лип, подсвеченные уличными фонарями, вглядывалась в темне-

ющие на противоположной стороне улицы силуэты зданий. Она давно знала наперечет те немногочисленные окна, в которых и ночью горит свет.

Мелькали огоньки проезжающих машин, по выложенному плиткой тротуару тянулись редкие полуночники. Мелькнула одинокая девичья фигурка в сарафанчике с распущенными волосами, вспомнилась протяжная мелодия, рожденная флейтой и сжалось сердце.

Заснула бывшая Дашка только под утро, когда забрезжил еще несмелыми сероватыми бликами рассвет. И будто сразу перенеслась на залитую жарким солнцем итальянскую улочку. Стены домов выкрашены в разные оттенки желтого и оранжевого, словно солнце оставило на них отпечатки своих ладоней. На окнах – коричневые ставни-жалюзи и ящички с геранью, с верхних этажей свисает старый запыленный плющ. Среди кустиков герани на втором этаже умывается кот, какая-то пичуга весело щебечет и все время пикирует на него, заигрывая и требуя внимания. Кот лениво отмахивается.

Вдали видна лестница, ведущая к церкви Сан-Лоренцо, а на фасаде одного из старинных домов висит табличка: «Via Panisperna». Из распахнутых настежь окон выглядывают милые итальянские старушки в замысловатых шляпках, доносятся запах жареного лука.

– Buongiorno, синьор Майорана, – несетя из окон.

Мимо проходит коренастый мужчина в темном двуборт-

ном пиджаке, широких немодных брюках и с круглыми очками на носу. Он не отвечает на приветствия старушек, только наклоняет голову, ускоряя шаг...

– Вот, всегда он такой, – судачат старушки, словно бабушки на российской завалинке, – странные эти ученые, не от мира сего.

– И не говори, – подхватывают в другом окне. – То вообще несколько лет сиднем сидел в своей квартире, никого в дом впускать не хотел. Племянница моя, Эмили, еду ему приносила, так едва дверь приоткрывал. Теперь хоть на улицу вышел, да и то молчит, слова никому не скажет.

Неожиданно мужчина разворачивается и оказывается лицом к лицу с Дарьей Сергеевной. Давно нестриженные темные волосы, густые сросшиеся брови, черные глаза, выразительность которых не скрывают даже очки с сильными диоптриями линз, толстоватый нос, пухлые губы, ямочка на подбородке... Он вздрагивает, бормочет:

– Сил больше нет. О чем с ними разговаривать, синьора профессор, скажите, о чем? Вы ведь меня понимаете?

Дарья Сергеевна неуверенно кивает.

– У меня два брата, две сестры, но их интересует только луковый суп да не пора ли мне жениться, – Этторе горько смеется. – Пусть не волнуются: их детям больше достанется. А мир... не хочу быть вершителем судеб. Единственное, что мне нужно: наконец обрести покой.

Он вздрагивает и передергивает плечами, словно холод

пронзает душу.

– Проводите меня, сеньора профессор, вы ведь тоже знаете, что такое одиночество, не правда ли?

Майорана поднимается на палубу парохода. За его спиной на бухте корабельного каната сидит девчоночка в цветастом сарафанчике, рядом трепетно и пронзительно играет на флейте паренек в великоватом концертном пиджаке. Бабочка отстегнута и торчит из верхнего кармана пиджака.

И совсем уж непостижимым образом черные глаза Этторе превращаются в прячущиеся в морщинках ярко-синие, шевелюра сменяется коротко постриженным русым ежиком... Тот, кто стоит теперь на палубе, хмурится и негромко говорит:

– Не плачь, Дашка. Ничего не поделаешь, так получилось...

Перед рассветом

– Что бы мы ни писали, всегда пишем про себя. Даже если переносимся в другие времена, города или страны, в которых никогда не были. Если у наших героев другие имена, фамилии, профессии – все равно, все про себя... – старая писательница вздохнула.

– Ну, про себя, так про себя... Пусть героиня будет без имени, просто «она». А начнется рассказ так: «Она стояла у окна и смотрела на велосипедиста. В маечке, с рюкзаком за спиной он равномерно и сосредоточено крутил педали, точно планировал непременно сегодня доехать до самого края земли, начисто забыв, что Земля – круглая... Часы показывали четыре утра. Еще дремали многоэтажки через дорогу, наконец выключив свет даже в окнах полуночников, не шуршали колеса и не ревели двигатели неутомных автомобилей, лишь этот торопыга стремился...»

– Плохая из меня писательница, – усмехнулась стоящая у окна женщина. – Кто-то другой уже давно придумал бы романтическую историю о большой и чистой любви или детектив с бандитами, догоняющими велосипедиста, а я...

Словно старый негр на саксе в приоткрытое окно подывал ветер, вздрагивала от его порывов тоненькая рябинка... Всю ночь напролет эти двое танцевали медленный танец,

почти не дотрагиваясь друг до друга. Только изредка ветер вздыхал особенно сильно, листья рябины трепетали от его прикосновений, будто вспоминая что-то давно забытое, а потом опять тянулся нескончаемый томительный блюз.

Откровенно говоря, писательницей она была средней. Несколько книг, когда-то изданных местным издательством, никого ни в чем не убедили, в первую очередь, не убедив ее саму в праве называться «писателем». Судьбой своих книг она не слишком интересовалась: изредка в букинистическом наталкивалась на них и смотрела, смущенно улыбаясь, точно на близких знакомых, оставивших ее навсегда. С годами тех, кто оставил ее, становилось все больше, и все меньше тех, кто пока оставался рядом. Впрочем, думать об этом не хотелось.

Болели ноги. Попыталась опереться на подоконник, и ладонь опустилась на что-то гладкое, круглое. Вспомнила: каштан, который принесла с прогулки. Осень для нее всегда начиналась с разбросанных под ногами блестящих коричневых зародышей будущей жизни. С трудом наклоняясь, она подбирала их, выискивая такие, чтобы одна сторона была чуть вогнутой. По впадине было хорошо проводить пальцем, придумывая разные истории. Казалось, стоит слегка прикоснуться к ней, и каштан перенесет... ну, например, в бар на небольшом греческом острове.

Маленький столик под тентом на деревянном помосте, за

спиной – южная ночь и звезды, падающие в Ионическое море, справа на стене реклама на английском языке, обещающая «пиво, ледяное, как сердце вашей бывшей девушки»; молоденький официант приносит графин домашнего вина, на ломаном русском сообщает: «Презент барышням от папы, бонус». Две очень немолодые барышни благодарят, смеются: «Греция – страна настоящих мужчин».

Они познакомились утром на пляже. Случайно встретились глазами, услышав русскую речь, почувствовали взаимную симпатию, и до самой ночи не расставались, обсудив уже вроде все, что возможно: и как, в отличие от Черного, по-женски ласково прозрачно-бирюзовое Ионическое море, и сложившееся у обоих странное впечатление, что женщина в Греции ощущает себя именно женщиной, неотразимой, достойной того, чтобы ее любили.

– Это в нашем-то, далеко не самом молодом возрасте! – изумляется одна из них. Зачесанные назад седые волосы открывают высокий лоб, на загорелом лице смеются умные карие глаза в разбегающихся морщинках.

Собеседница, отводя с лица заброшенные ночным бризом пряди светло-русых волос, рассказывает какую-то нескончаемую историю чужой любви, а она вдруг совершенно отчетливо вспоминает свое: ямочки на его щеках, улыбку... То, как растягивались кончики его губ, ямочки превращались в трещинки, а улыбающееся лицо становилось смущенным и чуть виноватым. Подумаешь, большое дело: ямочки, улыбка,

прямой чубчик русых волос, да серые глаза... Это она тогда так думала. Ей ведь казалось, что жизнь будет долгой-долгой, и впереди еще так много всего...

«Есть вещи, о которых все равно никогда не напишешь, вот, как о ладошке... – вздохнула старая писательница. – Как вообще люди умудряются писать эротическую прозу... То есть, придумать, наверное, можно, но написать о чем-то, пережитом тобой – невысказанно, все равно, что выбросить на помойку полученные любовные письма. Нет, лучше о другом...»

Легкое прикосновение к каштану, и в комнате звучат радостные молодые голоса: «Лизонька, душа наша!»

Вот и Лизонька, во всем цвете своих восемнадцати: облако светлых волос, широко распахнутые зеленые глаза. Лиф белого кисейного платья облегает высокую грудь, юбка спереди укорочена до щиколоток, сзади – веерная складка из косых клиньев, вставленных в шов. Лизонька церемонно приседает перед стоящими в дверях братьями, тут же заливается смехом и, подняв руки, медленно кружится, демонстрируя обновку. Широкие присборенные рукава платья превращают девичью фигуру в распускающийся бутон, веерная складка на юбке раскрывается, удлиняя силуэт, подчеркивая тонкую талию и грациозность именинницы...

Как давно это было. Елизавета Ивановна зажмуривается, стараясь вспомнить подробности. Вместо крохотного по-

мещения, в котором с трудом помещаются буржуйка, стул да железная кровать, встает перед глазами огромный зал с высокими, от пола до потолка окнами, задрапированными недавно вошедшими в моду тюлевыми занавесями и тяжелыми малиновыми шторами. С потолка, украшенного лепниной, свисает на золоченых цепях хрустальная люстра, на стенах – барельефы на античные сюжеты, картины и зеркала. На обитой темно-малиновым бархатом кушетке стопочкой сложены подарки. Отдельно – толстый фолиант в кожаном переплете. Под одной обложкой первые два тома сочинений господина Тургенева, подарок братьев. Чуть поодаль – маленькая сафьяновая коробочка, подарок Андрея.

Андрей, ее Андрейка... Необыкновенно серьезный, он держится за спинами братьев, не сводя с Лизоньки восхищенных глаз. И она, озорно поглядывая из-под длинных ресниц, любит его серыми глазами, легким румянцем на щеках, зачесанными на прямой пробор иссиня-черными, на зависть восточным красавицам, волосами. Отличник, получивший по результатам выпускных экзаменов первый класс, Андрей получил право после летних лагерей быть произведенным в подпоручики гвардии. А пока на нем все еще форменный мундир Михайловского артиллерийского училища: на воротнике из черного бархата и обшлагах – алая выпушка, на плечах – такого же цвета погоны с желтым вензелем великого князя Михаила Николаевича в виде буквы «М».

Как же хорош был Андрейка в этой форме... Как тонко и

нежно звенели его шпоры во время вальса... Пусть и не савельевские они были. Это спустя почти двадцать лет, когда учились сыновья, савельевские шпоры с их малиновым звоном стали считаться неременным атрибутом юнкеров Михайловского...

Ссохшееся, пергаментное лицо исхудавшей до прозрачности восьмидесятилетней старухи, лежащей под несколькими одеялами и старой вытертой шубой, неподвижно. Даже на подобие улыбки не хватает сил.

– Ну-ну, – сердится на свою героиню старая писательница. – Не раскисай, дорогая, нам с тобой еще жить и жить. Хочешь, придумаю историю повеселее? Рассказать тебе про первый поцелуй?

Железные перила старого моста, нагретые южным солнцем, обжигают так, что к ним невозможно прикоснуться. Под мостом – баржи, катера, обгоняющие их белые гребешки волн... За мостом – полоска пляжа да некошенный луг: ромашки, васильки, клевер переплелись в незамысловатом узоре, словно на рушнике домотканом. Вдали – развалины элеватора, похожие на старинный замок с привидениями. Туда и направляются двое путешественников, с наслаждением шлепая босыми загорелыми ногами по теплomu дощатому настилу моста. Путешественникам лет по тринадцать. На девочке – выгоревший ситцевый сарафанчик в красный

и синий горошек, на спутнике – белая майка, закатанные до колен старые серые брюки.

– Представляешь, синьор Риварес больше всего боялся крохотных желтогрудых колибри. Это Маргарита говорит Рене, а тот вздрагивает: «Я тоже боялся, но уже прошло». Представляешь?

Девчонка, размахивая руками, с таким упоением пересказывает только что прочитанную «Прерванную дружбу» Войнич, что не замечает, как босоножки, которые она несет в руках, то и дело хлопают паренька по разбитым коленкам. Он пытается отстать, чтобы смягчить шлепки, но подруга сердится:

– Ан-дрей! Слушай! Знаешь, что отвечает Рене? Я наизусть выучила: «Дорогой мой Феликс, признания в любви нельзя повторять. Неужели вам нужны ещё уверения, что я могу обойтись и не получив объяснения ваших поступков, которые я не могу понять?» Вот!!! Видишь, какой он благородный!

– Что же ты не следуешь его примеру? – не выдержав, фыркает доселе безропотный слушатель. – Вчера полчаса меня допрашивала, о чем я с Соней разговаривал.

– Там и понимать нечего, просто Сонька на тебя глаз положила, – безапелляционно сообщает девочка и, подумав, добавляет, – как Маргарита на Ривареса.

При резком повороте (надо же рассмотреть, похож ли друг на Ривареса) босоножки выпадают из руки, одна туфелька,

балансируя, чудом задерживается у парапета, а вторая летит в реку. Парнишка, не раздумывая, скидывает брюки и с железных перил солдатиком ныряет вслед за тuffелькой.

(«Здесь надо уточнить, – думает старая писательница, – река-то полноводная, высота моста метров восемь, да глубина в этом месте не меньше двенадцати»).

В длинных мокрых трусах, прилипших к телу, худющий, словно прибрежный камыш, покрытый мурашками, Андрей трясется от холода, обхватив себя за плечи. «Хорош Риварес, – думает про себя с издевкой, – и чего прыгал-то? Все равно не достал...». С моста, размахивая его брюками, сбегает девчонка, с размаху бросается мокрому другу на шею:

– Сумасшедший! – целует пару раз непонятно куда, потом губы встречаются с губами, и оба замирают. Сарафанчик в горошек быстро промокает, мальчишка, ощущая уткнувшись в него два бугорка маленькой груди, боится вздохнуть...

– Балда, ты, Машка, все-таки, – выговаривает паренек подруге, когда наваждение проходит. – Что теперь маме скажешь, где вторая босоножка? Не разрешит она тебе больше через мост за реку ходить.

– Можно подумать, она мне до сих пор разрешала, – фыркает Машка и, искоса поглядывая на парнишку, тихо добавляет – ты только не подумай...

– Нет, конечно, – ее ладонь прячется в его ладони, и дальше они идут, держась за руки.

По правде говоря, старая писательница уже и не помнит: было ли так на самом деле или она придумала это в греческом баре, когда туманило голову домашнее вино, дрожали в нежной истоме звезды, и все, что произносилось, что думалось той августовской ночью казалось чистейшей правдой, до блеска отмытой в волнах чистейшего из морей.

С трудом, упираясь руками в спинку кровати, Елизавета Ивановна поднимается, спускает на ледяные полы ноги (даже сквозь валенки чувствуется обжигающий холод), достает из-под подушки толстую книгу. Кожаный коричневый корешок переплета, как и уголки книги – обтрепались, на переплетную крышку наклеена бордовая ткань, орнамент – выпуклая бордюрная рамка, в центре виньетка из веток лавра с большой буквой Т: Тургеневь... Не книга: произведение искусства. Впрочем, спекулянт на рынке (тогда она еще могла дойти до рынка) лишь посмеялся:

– За кулон золотой дам буханку хлеба и двадцать грамм масла, а книгу, бабка, в печку засунь, на пару минут тепла хватит.

Так и рассталась с подарком Андрейки. Всю жизнь берегла, а в конце – пришлось... Для себя ей ничего уже не надо, но вот девочка на третьем этаже – должна жить...

«Эх, Андрейка – Андрейка... ты и в генеральской форме мальчишкой казался. Худой, стриженный «под ежик», с

сединой на висках и виноватой улыбкой. Как ты тогда сказал, перед отъездом в Порт-Артур: «Признания в любви не повторяют, но ты помни, милая...». Я-то помнила, а вот ты – не вернулся. Страшно говорить такое, но, может, и к лучшему: не узнал, чем закончилась та война и что потом было. Мальчишки...» – Елизавета Ивановна судорожно вздыхает. Слез нет так давно, что она и вспомнить не может, когда плакала последний раз.

«Алешенька, старший наш, во Второй армии при генерале Самсонове служил, там, где-то в лесах Восточной Пруссии и остался. Только крестик нательный привез его сослуживец. На мне он теперь, крестик... А Сереженька с той войны живым вернулся, и в Гражданскую выжил...»

Дальше вспоминать Елизавета Ивановна не решается. Новый, 1931-ый год, они договорились встретить с Сережей и его невестой. Времена изменились, какое там родительское благословение, но раз познакомиться решил – значит, серьезно у них. С утра прибрала комнату, испекла любимый Сережей луковый пирог, накрыла на стол и села ждать у окна. Что-то, а ждать жены и матери военных умели во все времена... Уже темнеть начало, когда в арке двора показались ее Сереженька, высокий, в длинной шинели, буденовке со звездой и девушка в рыжей шубейке, закутанная в теплый шерстяной платок. Сереженька только успел глаза к окну поднять, знал: мама ждет, и она приподниматься начала, чтобы рукой помахать, как все и случилось...

Выскочили какие-то люди, в один миг затолкали Серезеньку с девушкой в накрытый брезентом грузовик, она так и не поняла, откуда в их дворе грузовик взялся... Один из нападавших задержался, поставив ногу на подножку кабины, закурил, огонек спички выхватил из сумрака лицо соседа, жившего этажом выше...

Лишь спустя три месяца Елизавета Ивановна узнала, что арестовали сына как замешанного в каком-то «Гвардейском деле», приписав участие в контрреволюционном заговоре. Той ночью взяли и многих других преподавателей бывшего Михайловского артиллерийского училища, переименованного во вторую ленинградскую артиллерийскую школу. Все припомнили: и шпоры с малиновым звоном, которыми дорожил, и даже то, что «как контра», учил новых курсантов подавать женщинам пальто, открывать перед ними дверь, пропускать вперед...

Следователь незлой попался, по секрету рассказал матери, что ни в чем ее сын не признался, потому и всего три года дали. Вот только умер Сергей в заключении, и где похоронен – о том ей знать не положено. А про девушку Сергея следователь ничего не знал. Попробовала Елизавета Ивановна у соседа, который арестовывал Серезеньку, о девушке спросить. Да тот лишь взглянул незряче, словно пустота перед ним была, отодвинул в сторону и молча прошел в парадное. Долго еще у Елизаветы Ивановны хранился перевязанный ленточкой сверток, приготовленный в подарок незнакомой девуш-

ке – чудом сохранившиеся валансьенские кружева. Лишь в начале зимы сорок первого обменяла их на муку...

А сосед тот через несколько лет привел в дом женщину, ребенка она родила. Елизавета Ивановна видела в окно, как гуляли во дворе мама с дочкой, как звонко смеялась малышка, радуясь чему-то...

«Надо подняться... Еще один раз, последний», – Елизавета Ивановна твердит про себя эти слова, размазывая по последнему, оставшемуся от буханки тонкому ломтику хлеба невидимый слой масла. С трудом, цепляясь дрожащими пальцами за перила, поднимается со второго на третий этаж. Двери в доме уже давно никто не закрывает. Да кажется, кроме нее и Машеньки больше никого в доме живых и не осталось...

Машенька то ли спит, то ли лежит с закрытыми глазами, у Елизаветы Ивановны нет сил проверить. Кладет рядом с девочкой на кровать толстую книгу в коричневом переплете, сверху – кусочек хлеба, бросает взгляд на фотографию, которую Машенька сжимает в руке. Женщина в ярком шелковом платье держит на коленях девчушку лет трех с большим бантом на голове, ту самую, звонкий смех которой так часто будил по утрам сумрачный питерский двор. За плечи женщину обнимает военный... Его пустые, незрячие глаза не забыть, хотя на фотографии он кажется счастливым...

Вернуться в свою комнату Елизавета Ивановна не смогла, опустилась на мраморную ступеньку лестницы петербург-

ского дома, там ее и нашли спустя несколько дней.

Старая писательница отворачивается от окна к лежащей на столе раскрытой книге. На титульной странице сохранившаяся через века, сделанная тонким пером надпись: «Поздравляем тебя от всего сердца нашего и от всей души целуем тебя, Лола, ангел души нашей. Братья 1881 год». И чуть ниже: «Елизавете Мусиной-Пушкиной от братьев. Россия, 1881 год».

Писательница вздыхает: «Я напишу про тебя, Лизонька, непременно напишу, ты подожди, ладно? Вот только этот велосипедист... Мне обязательно надо придумать, куда он ехал, к кому. Может быть, он хотел первым встретить рассвет? Так бывает... А еще тот мальчик с виноватой улыбкой... Как же мы с ним не догадались, что всю жизнь будем вспоминать о том, чего не было. И почти в каждом моем рассказе будет свет его серых глаз».

– Андрюшенька, бутерброды взял?

– Конечно, ба. Ну, что ты встаешь каждое утро?

Пожилая женщина в теплом фланелевом халате любит внуком. Ей кажется, внук похож на прадеда, выцветший портрет которого висит над ее кроватью. Говорят, сейчас можно обновить старые фотографии, но ей дорог такой, сохранный мамой, пусть на нем не разобрать лица и с трудом угадываются лишь длинная шинель да буденовка со звездой.

– Старики мало спят. Это ты не высыпаешься: ночь над книгами, потом эта дорога. Ездил бы на служебном автобусе, все лишний час сна.

– И так семь часов под землей поезда водить, нет уж, я лучше на своем железном коне, во всяком случае, ветерок в лицо, – смеется темноволосый парень с серыми глазами, привычно закидывая рюкзак на плечо. В депо надо быть в пять, значит, можно крутить педали и придумывать разные истории. Он знает по дороге одно окно, в котором часто в это предрассветное время горит свет. Быть может, там стоит молодая красивая женщина с длинными вьющимися волосами и улыбается ему...

А где-то очень далеко, в другом городе, другом государстве сидит в инвалидном кресле старик.

– Дед, ты что загрустил?

Виновато улыбнувшись, старик отворачивается от внука, стирая набежавшую слезу: сентиментальным стал с возрастом. Не будешь же объяснять мальчишке, что вспомнилась осторожно прикасающаяся девичья ладошка...

Старая писательница умерла осенней ночью, стоя у окна. Никто не знал, о чем она думала перед смертью, впрочем, никого не интересовало, о чём она думала при жизни.

Фантазёры

1

– Пей, Федор!

Магда отодвинула раскрытую книжку и поставила вместо нее на письменный стол кружку с горячим молоком. Книга немедленно вернулась на свое место. Она была издана за пять лет до появления Федора Федоровича на свет, и ему нравилось медленно, чуть лениво читать о тезке, жившем более двух веков назад. Если очень постараться, на потрепанном переплете можно разглядеть: «Страницы морской славы». Ниже мелкие, почти совсем стершиеся буквы: «Жизнеописание адмирала Ушакова». Что ни говорите, но в полном совпадении имен и отчеств есть что-то притягательно-таинственное.

Зато горячее молоко с медом Федор Федорович с детства терпеть не мог: именно так лечила от всех болезней баба Агафья. Нежданно вернувшаяся Магда, казалось, переняла от бабушки не только чудодейственный рецепт, вылечивающий хандру, кашель и остеохондроз, но даже ее интонации, исключаящие любое возражение.

Впрочем, возражать Федор Федорович не пытался: Магда почему-то оказывалась права всегда. Вот и приходи-

лось, скрывая неудовольствие, вспоминать себя мальчишкой. Словно сидит он сейчас на лавке у русской печи, греет озябшие ладони о кружку с горячим молоком, поглядывает, как гнутся за окном верхушки берез, роняя листья, а в стекло требовательно стучит синица, выпрашивая хлебные крошки.

«Укатали Сивку крутые горки. Эх, Федя – Федя», – вздыхала про себя Магда, посматривая в сторону старого друга. Свитер, который она связала ему в подарок, болтался на костлявых плечах, точно на вешалке, распахнутый ворот открывал худую, покрытую набухшими венами шею, клочки щетины на небритых щеках, давно не стриженные волосы словно утренний иней покрывала седина.

– Иди уж, Сивцов, заждались тебя дружки, – Магда легонько кивнула в сторону окна, – того и гляди, своими камешками стекло разобьют, бросают да бросают.

Братья Горюхины встретили Федора Федоровича так, словно не расставались:

– Ты, Федорыч, писатель, скажи, давно о высоком думал?

– Привет, говорю, – Федор Федорович прокашлялся. – Здраваться-то будем? Что сразу так, о высоком? О низком уже все обсудили?

– Нет, ты только представь себе, – старший Горюхин, игравший когда-то в оркестре на бас-тромбоне, нескладный, с длинными руками, вечно согнутый в пояснице, говорил хриплым басом, словно даже отложив инструмент в сторону,

вел его партию в любом разговоре, – иду я вчера вечером мимо второго подъезда. Вроде приличные парни сидят, пиво попивают, а один и спрашивает дружков: «Вы когда последний раз о высоком думали?» – Веришь – нет, Федорыч, хмель из головы вылетел. Стал вспоминать, когда о высоком думал, так и не вспомнил. А ты?

– О доблестях, о подвигах, о славе, – вставил Горюхин младший.

Недоучившийся семинарист, кем он только ни побывал: и актером провинциальных театров, и массовиком-затейником в детских лагерях, и распорядителем на свадьбах и похоронах.

«Я артист широкого профиля», – говорил он сам о себе, а старший Горюхин посмеивался:

– Еще бы, уж так тебя, Ванька, вширь разнесло, что, гляди, скоро ни в одну дверь, включая калитку на кладбище, и боком протиснуться не сможешь...

– Да не к спеху, на кладбище-то, – хохотал младший, оглаживая живот и подтягивая сползающие тренировочные штаны, – авось, к тому времени похудею.

Старший Горюхин, сообщив миру свое басовое «эхма», распахнул заношенную замшевую куртку и вытащил из внутреннего кармана плоскую бутылку. Внутри зеленел стебелек с продолговатыми, пузырчатými листьями, бултыхалась прозрачная жидкость. Отвинтил пробку, обтер обшлагом рукава горлышко, протянул Федору Федоровичу:

– Будешь? Очень от простуды помогает.

Федор поморщился:

– Знаешь же: Магда унюхает – убьет. Я теперь молоком лечусь.

– Ну да, ну да, – согласно покивал Иван, – Магда – она может. Но... самогоночка-то на кадиле сарматском настояна. Ты вдумайся, писатель... Кадило сарматское! Слова какие! И аромат меда... Помню, когда вепря гигантского зарубил, стал траву рвать, чтобы руки от крови вытереть, тут мне это кадило и подвернулось... Сам в крови, а руки медом пахнут. На запах весталочка и купилась.

Младший Горюхин мечтательно вздохнул, поднес к носу толстые волосатые пальцы и огорченно скривился.

– Прошлый раз, кажется, это олень был, – засмеялся Сивцов.

– Нет, оленя жалко, – отмахнулся бывший артист и вдохновенно продолжил. – Обычно я кабанов этих с одного захода, стрелой в сердце укладывал. А тут – гигантский попался. Шкуру проткнул, а до сердца – длины стрелы не хватило. Я с коня спешился, пошел по следам, но и он, не будь дурак, мне навстречу ринулся, то ли он под мое копьё, то ли я под его клыки. Не помню уж, сколько мы с ним друг друга гвоздили, да только мое копьё, видать, острее оказалось. Как все закончилось – я к водопаду, умыться, а там – хотите верьте, хотите нет, обнаженная девица чресла обмывает. Где надо – выпуклая, где надо – вогнутая, все при ней. Короче, засмот-

релся я. Да и она... глаза стыдливо отводит, а веточкой какой, либо водорослью прикрыться не спешит и на то копьё, что всегда при мне, косится...

– Где ты, Ванька, слов таких набираешься, – громыхнул бас-тромбон.

– Так что же... и мы романы почитываем, – ухмыльнулся младший Горюхин, пытаясь сложить руки на животе. То ли руки коротковаты были, то ли брюшко – великовато, но, не дотягиваясь друг до друга, пальцы рук беспокойно елозили по обтянутому курткой взгорью, словно нажимали на невидимые клавиши.

– Оказалась она не простой девицей, а посвященной богиней Огня, – пальцы левой руки исполнили на животе гамму, символизируя отчаяние. – У них, сами знаете, порядки строгие: безбрачие, а если не дай бог, девственность где обронишь, в землю заживо закопают, красу девичью не пожалеют.

Пальцы правой руки быстро побежали по животу, изображая мыслительный процесс, но, зацепившись за клапан куртки, остановились.

– На раздумья-то времени не было. Протянул к ней руки, она как аромат меда вдохнула, так и сомлела. А я с ней на руках на коня вскочил, да понеслись во весь опор сквозь леса и болота. Столетние ели ветками по глазам хлещут, ноги красавца-жеребца моего трясина засасывает, только не на того напали: не выронил я девицу, а богиням вскоре неповадно

стало догонять нас. Свадьбу сыграли...

– И я там был, мед-пиво пил, – пробормотал Федор Федорович, искренне удивленный печалью, прозвучавшей в голосе приятеля.

– Да уж, такую свадьбу не забудешь, – подхватил тему старший Горюхин и повел свое соло. – Дай бог памяти, чтоб не соврать, то ли в шестьдесят восьмом, то ли в семьдесят восьмом довелось играть нам на свадьбе герцога Бургундского.

– Ты век-то, век уточни, долгожитель наш, – давясь от смеха, перебил Сивцов.

– Оно тебе надо? – огорчился музыкант. – Не порти песню. Не так давно и было, лет шестьсот назад, не в том дело. Роскошная свадьба была. Стены тронного зала гобеленами украшены, потолок голубым шелком затянут, а посередине зала серебряный бассейн, наполненный вином бургундским. По нему позолоченные корабли плавают. На одних кораблях мясо жарят да обжигают, истекающее соком, гостям подают, на других – закуски деликатесные заморские, сыры и фрукты, на третьих рыбу на огромных сковородах жарят... Посуда на столе сплошь золотая, вдоль стен – миниатюрные бронзовые замки, вокруг них леса и фигурки животных диких. Собрали всех мастеров Бургундии, чтобы такие канделябры отлить, каких ни у кого больше не было... Я к чему это? У Ваньки-то нашего, ей-богу, не хуже было. На стенах вместо гобеленов Ленкины фотографии, да так, что и кусоч-

ка свободного места не осталось, вдоль стен одеяла да старые пальтишки набросаны, сиденья для знатных гостей, значит, а на полу на газетках (наших, между прочим газетках, с правильными лозунгами, типа: «Даешь...»; не помню уж что надо было дать, но давали...) все, что смогли в магазине по благу прикупить. И колбаса краковская, и бычки в томате, и оливье, винегрет – в тазиках. А напитки я по бартеру с ликероводочного приволок. Без наклеек еще, прямо с конвейера, да в наклейках ли счастье...

– Счастье, как оказалось, в другом месте тогда ночевало, – буркнул Иван и потянул Федора за рукав, – брось ты, не отворачивайся, дело-то прошлое...

2

Магда закончила гладить, сложила белье в шкаф и задержалась у окна. На лавочке у подъезда – неразлучная троица. С Ванькой они знакомы с детского сада: он отнимал у нее игрушки и норовил летом обсыпать песком из песочницы, а зимой – запустить твердым, слежавшимся комком снега. Магда старалась держаться от братьев Горюхиных подальше, пока к ним не присоединился сероглазый мальчик из соседнего подъезда. Она и сама не поняла, что понесло ее тогда на спортивную площадку, где мальчишки красовались друг перед другом хилыми зародышами мускулов и сосисками болтались на турнике, изображая из себя великих гимнастов.

– Уйди, малявка, – покровительственно крикнул старший из братьев, – зацепим – сразу побежишь маме жаловаться.

– Совсем я не малявка, – обиделась Магда, – мне пять уже, как ему, – и ткнула кулаком в Ваньку, озабоченно чесавшего затылок.

– Вот, а нам с Федором – шесть, – хвастливо сказал старший Горюхин, указывая на нового знакомого.

– Мне семь, – вздохнул сероглазый, – в этом году как в школу запрут – уже не погуляешь...

Магда словно обезьянка по опоре турника взлетела наверх, подтянулась, сделала переворот (коротенькое платьице при этом упало на лицо, обнажив трикотажные трусишки) и,

спрыгнув, уставилась большими карими глазами на Федора:

– Будешь дружить со мной?

– Буду, – кивнул Федор.

То, что Ванька при этом отвернулся и начал отчаянно тереть глаза, а потом убежал домой, никто не заметил.

Дружбу Федор понимал своеобразно: Магда хвостиком бегала следом, а он не обращал на нее внимания, хотя другим мальчишкам обижать «подругу» не позволял: во дворе Федор слыл авторитетом, и кулаков его побаивались. На лето Федор уезжал к деду в деревню, возвращался в цыпках, до черноты загоревший; свысока смотрел на Горюхиных, отданных в музыкальную школу и вынужденных просиживать над сборниками с нотами, теряя время на каком-то сольфеджио, сплевывал сквозь зубы, говорил загадочно:

– Городские друг перед другом бахвалятся, а в деревне – все подлинное: и звуки, и лес, и люди...

Сам придумал или повторял чьи-то слова, но звучало убежденно.

После девятого класса Федор в город не вернулся, остался доучиваться в сельской школе. Первое время еще писал друзьям, потом замолчал. А через год, поздней осенью Магда получила письмо, написанное незнакомым крупным почерком: «Приезжай, наведай Федора. Баба Агафья».

Магда оставила родителям записку, что-то наврала подру-

гам, одолжив у них деньги на дорогу, и первый раз в жизни поехала одна сначала на электричке, потом в дребезжащем пригородном автобусе, так набитом тетками, возвращающимися с рынка, что казалось их мешки, кошелки, локти и крепкие груди холмами выпирали сквозь обшивку кузова.

Баба Агафья, оказавшаяся невысокой, пухленькой старушкой, перевязанной крест-накрест вязаным шерстяным платком, с порога напоила Магду горячим молоком, накормила шанежками и кивнула на Федора, который лежал, накрывшись с головой стеганым одеялом, на притулившемся у печки топчане, не думая подниматься:

– Как деда схоронили, третью неделю лежит. Ночью во двор выйдет, сядет на крыльцо, замерзнется весь, и опять под одеяло. Может, хоть ты, дочка...

Агафья прервалась, не договорив фразу до конца, с сомнением разглядывая городскую девчонку:

– О-хо-хонюшки... нарядилась-то... капроны свои скинь, возьми мои чулки шерстяные, тебе как раз будут. В сенях, если выйти надумаешь, чуни валяные стоят, надевай смело. Не знаю... по-городскому, диван тебе застелить, или на полати залезешь? Поди, на печке-то никогда не спала?

– Как скажете, бабушка.

Магда с трудом сдерживала слезы: зачем она ехала в этот чужой дом с печкой, занимающей полкомнаты, она такую прежде лишь на картинках и видела, рукомоЙником, в который надо наливать ледяную воду из ведра, стоящего рядом

на скамейке, смешными самодельными половиками из лоскутов на крашеном деревянном полу... Зачем, если Федька даже не шелохнулся под своим одеялом.

– Как скажу...

Пожилая женщина потянула гостью за руку в соседнюю комнату, отделенную занавеской, понизила голос:

– Извелся Федор совсем. Залпом горюшко заглотнул, а оно – как спирт неразбавленный, с непривычки и сжечь нутро может. Я, что могла, все перепробовала, да без толку...

Вздыхнув, заглянула Магде в глаза:

– Ваше-то дело молодое, может, сложится...

Утром Агафья собралась кормить нескольких оставшихся кур да петуха-горлопана, требовавшего от своей куриной семьи вечного подобострастия, но, приоткрыв дверь, увидела на крыльце внука. Накрытый старым дедовским кожухом, он спал, положив голову девочке на колени, а она, выставив из-под кожуха ладошку, кормила хлебными крошками синицу, которую приручил дед. И такая радость была на лице пигалицы, что Агафья, не выдержав, тихонько прикрыла дверь, опустилась на лавку у рукомойника и первый раз после похорон мужа беззвучно заплакала...

Та ночь была очень короткой. А последовавший за ней день очень длинным. Таким длинным, что никак не вмещался целиком в память Магды. То вспоминалась черная, ссох-

шаяся, вся в трещинах старая перевернутая лодка, на которой сидели они с Федором. То шепелявый ветер. Он бубнил что-то назидательное, сдувая с пожелтевших листьев березы дождевые капли. То звучал в ушах скрипучий голос птицы с серовато-белым хохолком на голове и синими пятнами на крыльях. Она подлетала очень близко, косилась на них любопытным черным глазом, а Федор грозил кулаком:

– Только попробуй, сойка-сплетница, кому-нибудь рассказать о нас.

И красные озябшие руки. Они с Федькой грели их о кружки с обжигающе-горячим молоком, смотрели друг на друга и молчали.

Все это даже спустя много лет распадалось на отдельные лоскутки счастья и никак не хотело сплетаться в один общий узор.

Вечером приехал отец Магды. Измученный беспокойством, фиолетово-бордовый от подскочившего давления он наорал на Агафью: «Вы, старая женщина, как вы могли!», тряхнул Федора, взяв за отвороты старенькой телогрейки: «Надеюсь, ты был мужчиной и не обидел девочку», не слушая возражений, затолкал Магду в кабину попутки и увез в город.

Машину подбрасывало на колдобинах, отец, не переставая, ругал дорогу, дочку, ее подруг, глупую бабку с не менее глупым внуком, а Магда то плакала, то светилась улыбкой.

Обижалась на отца, который бесцеремонно увез ее, словно котенка, схватив за шкурку, и вспоминала, как шептал Федор ночью:

– Дождись меня из армии... Слышишь? Дождись...

– О чем задумался, Федорыч? – старший Горюхин отхлебнул из бутылки и довольно улыбнулся. – Припоминаешь выское?

Ветер сорвал очередную порцию листьев с березы над скамьей, бросил под ноги. В лицо полетели мелкие капли влаги: то ли дождь, то ли слезы. Деревьям, словно девчонкам, грустно расставаться с ярким нарядом, когда впереди – лишь неизбежность долгой холодной зимы.

– Да выше Ванькиных подвигов разве придумаешь, – Сивцову вдруг стало тоскливо: зря он ввязался в этот треп. Сидел бы сейчас дома, в тепле, слушал, как ворчит Магда...

Билетов на поезд не было. Как назло, именно сейчас, когда они так необходимы. Три года добирался Федор домой после срочной службы. Жизнь казалась бесконечной, сила – немереной, вот и испытывал себя. То с рыбаками на баркасе в море ходил, то с геологами по тайге скитался...

А по ночам встреченные люди, тайга с буреломами, море, вскипающее яростью, даже рыба пойманная и не пойманная оживали и требовали перенести их на бумагу. Особенно нахальничала одна рыбешка, с метр длиной. Она подмигивала, скалилась в улыбке, выставляя золотой зуб, и хриплым тенорком требовала: «Напиши обо мне, любое желание ис-

полню». Ни в сказки, ни в золотых рыбок Федор не верил, но оторваться от обшарпанного стола в рабочей общаге, на котором все выше громоздилась стопка исписанных листов бумаги уже не мог. Днем писал, ночью сторожил детский садик и опять записывал то, что беспрестанно крутилось в голове, не давая покоя...

Мамино письмо про Ваньку Горюхина, собравшегося жениться на какой-то Ленке из второго подъезда Федор даже не дочитал до конца. Только на следующий день понял: это его Ленка почему-то решила выскочить замуж, не дождавшись, пока он закончит писать свой первый роман. Его, Федора, Ленка... Метнулся на вокзал. Билетов на поезд нет, да и поезда через день ходят, но разве Федора этим остановишь...

Товарняк шёл в нужном направлении. Фёдор сунулся в теплушку, протянул двум хмельным дядькам, сопровождающим груз, бутылку водки:

– Отцы, помогите.

– Так, что же... для хорошего человека – это мы всегда, – краснолицый дедок в старом ватнике доброжелательно глянул на бутылку, пожевал ус, – ты только, парниша, на крыше вагона сховайся, пока наш главный с проверкой придет. А как он все досмотрит, тут мы тебя и кликнем.

Сивцов поежился: воспоминания об этом «подвиге» до сих вызывали озноб. Поезд едва успел тронуться, как дядьки в вагоне добавили к ранее выпитому еще и его бутылку

и заснули мертвым сном. А он сначала беззаботно распластался на нагретой солнцем крыше, ближе к вечеру подтянул молнию на куртке до самого верха, и лишь когда ледяной дождь, словно заправский барабанщик, стал отбивать сложный ритм по крыше вагона, а заодно и по его, Федора, сжавшемуся в комок телу, начал изо всех сил колотить по крышке люка, напоминая о себе.

Ванька, вон, якобы от богинь Огня спасался... Подумаешь, торговала Ленка лампадками в церковном киоске. Кто в те годы не торговал чем мог.

А попробовал бы он двух храпящих бездельников разбудить, да с поезда не свалиться, когда руки заоченели, а душа хоть еще и не совсем оторвалась от тела, но уже витает где-то на уровне пролетающих мимо редких фонарей и поглядывает сверху: стоит ли возвращаться...

Закончился «подвиг» двусторонним воспалением легких и хроническим бронхитом. Но на свадьбу Федор все-таки попал. Ногой расшвырял газетки со свадебным угощением, рывком вытянул Ленку с места для молодоженов, получил от нее множество оплеух (даже глаз расцарапала, кричала: «Ненавижу: за пять лет – ни одного письма!») и увел с собой.

Потом Ленка с мамой по очереди дежурили у его постели в больнице, мамино сердце не выдержало, а Ленка... Ленке пришлось одной хоронить маму: Федор метался в бреду на больничной койке.

– Не томи, Федорыч, твоя очередь, – Ванька выжидательно заглядывал в глаза. – рвани что-нибудь этакое «о подвигах, о славе», порадуй душу.

Сивцов усмехнулся: совсем как дети малые. Хотя... почему бы и не придумать.

Что же, пускай... На палубе парусного фрегата стоит высокий худой мужчина. На голове треуголка, на плечах длиннополый белый кафтан, под ним темно-зеленый камзол, украшенный золотым шитьем в виде дубовых листьев. Вместо потертых джинсов – штаны до колен, белые чулки, башмаки с медными пряжками. Три пуговицы на обшлагах кафтана (сочинять так сочинять!) свидетельствуют о высоком чине человека, напряженно глядящего в подзорную трубу.

Мыс, похожий на указательный палец судьбы, выступает далеко в море. Белая башня маяка, зелень травы, а вдоль высоких красноватых скал, под прикрытием береговых батарей выются на мачтах вымпелы флота неприятеля. Их много. Так много, что кажется в просторной, широкой бухте кроме прибрежной полосы не осталось и пяди свободного места.

– Федор Федорович, ветер с берега дует, – почтительно склоняется командир фрегата.

– Вижу. Эскадре – продолжить движение, отрезать неприятеля от берега.

– Под пушки батарей идем...

Адмирал хмурится: не смеет офицер обсуждать приказы,

но тот и сам понимает:

– Зато ветер наш будет.

– Пять часов сражения пролетели как миг. Чад горящих кораблей затянул небо, впрочем, может, просто близилась ночь, – глуховатый голос Сивцова слегка подрагивает, он и сам увлекся рассказом. – Возле корабельных орудий, словно черти в аду, плясали раздетые до пояса, черные от сажи, артиллеристы. От них зависел исход битвы: возглавляемая адмиралом эскадра, окружив противника, в упор расстреливала чужой флот. То справа, то слева раздавался глухой треск сталкивающихся судов: неприятель искал бреши для прорыва. Вспышки, сопровождающие выстрелы, освещали вздымающиеся носы кораблей, похожие на поднятые в отчаянии руки: море не спеша заглатывало свою добычу. Взметнулся в небо сноп искр, на палубу адмиральского фрегата рухнула горящая мачта тонущего корабля. Невысокий бравоый матрос, играя мускулами, подтянул штаны, – не удержался от ехидства Сивцов, – и бросился тушить огонь. «Горюхин, снаряд давай, черт тебя побери!» – последнее, что он услышал в жизни: обломок другой мачты пробил ему голову.

– Не до смерти, Федорыч, не до смерти, – младший Горюхин нервно пробегает пальцами по обтянутому курткой животу.

– А как же подвиги? Ладно, герой, живи, – благосклонно кивает Федор Федорович, продолжая рассказ.

– Сквозь мглу прорвался луч заходящего солнца, вместе с ним на сражающихся обрушилась тишина. Она ударила по ушам сильнее свиста снарядов, треска рухнувших мачт, криков, проклятий людей. Тут-то и раздалась команда адмирала: «Горюхин, за мной! На бордаж!».

– А потом зазвучал полонез, – радостно добавил Горюхин старший.

Сивцов с Иваном удивленно переглянулись, словно они и правда уже перемахнули на палубу флагмана противника, размахивая бордажными тесаками и пистолетами кинулись по узким коридорам в бой, и вдруг до них долетел тягучий звук бас-тромбона.

– Это еще откуда?

– Ну, как же, – заторопился бывший тромбонист (впрочем, музыканты бывшими не бывают), – «Гром победы, раздавайся!», все знают, музыка Козловского. Написан по случаю взятия Суворовым Измаила. Впервые исполнен на празднике, устроенном Потёмкиным для Екатерины. Семьсот девяносто первый год, кажется...

– Василий, охолони, ты слишком много знаешь, – Иван покровительственно положил руку брату на плечо. На фрегате-то откуда оркестр?

– Так Федор Федорович – известный меломан. На адмиральском корабле и каюта была для музыкантов. Не слишком роскошная, правда, ну, да и мы не баре. А вот как победа близка – тут нас на палубу выпускали, шторм ли, качка, наше

дело – играть: «Славься сим, Екатерина! Славься, нежная к нам мать!» – прогудел хриплым голосом старший Горюхин.

– Ну ты, Вася, горазд врать, – хмыкнул Сивцов. – Только что придумал?

И отвлекся, провожая глазами стайку девчонок-школьниц, похожих друг на друга как близнецы. В черных джинсах, обтягивающих еще худые попки и ноги-тростиночки, в куртках, обманчиво похожих на кожаные, они шагали по двору, словно длинноногие журавли, спустившиеся ненадолго на землю. Федор невольно распрямил сутулую спину, приосанился, пытаясь поймать их взгляды, но уткнувшись в смартфоны девчонки видели и слышали только себя.

Зато старушка в меховой безрукавке и фетровой шляпке прошлого века, занятая раскладыванием по баночкам еды для беспризорных котов, слышала и замечала все. Пожевала впалыми, тонкими губами, неодобрительно взглянула:

– Вроде интеллигентные люди. Когда только успевают набраться?

– Не серчай, мать, он на конкурсе «Голос» выступать готовится, – подмигнул Сивцов.

– Отвыступал уже свое, – буркнул старший Горюхин.

– Не отвлекайся, Федорыч, дальше-то что? – Иван поднялся со скамьи и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, готовый к подвигам.

– Да что дальше... Матрос Горюхин, конечно, ворвался в каюту предводителя пиратов первым. Красив как Аполлон... Белые полотняные штаны подметают палубу, грудь колесом, чуб как у запорожского казака. Адмирал еще команду отдать не успел, а Горюхин уже вытаскивает на свет прячущегося за парчовыми шторами упитанного коротконового человечка в красном кафтане и чалме с алмазным пером. Человечек жалостливо оттопыривает губу, плачущим голосом взывает: «Магда, скажи им!». Висящий на стене ковер раздвигается, из-за него появляется женщина. Удлиненные, миндалевидные глаза цвета коллекционного коньяка с золотыми искорками, рассыпавшаяся по плечам копна русых волос, длинные ноги в прозрачных кремовых шароварах, обнаженный живот, который хочется целовать и днем, и ночью...

Федор несколько смущенно вздохнул:

– Пожалуй, слишком увлекся описанием, но приврал не сильно ...

– Мальчики, Федя, Ваня, что вы развоевались? Хватит, – бархатное контральто наложницы пиратов звучит завораживающе. – Не трогайте Саида, он не виноват ни в чем.

Федор Федорович невольно поморщился: ночь в одном купе с бабой в его планы не входила. Сейчас начнется: «Откройте окно, закройте окно, помогите достать чемодан, выйдите, мне надо переодеться...». Презентация новой книги в столичном издательстве завершилась как обычно посиделками в ресторане. Выпили достаточно, поэтому больше всего хотелось сразу завалиться на полку и заснуть. А соседка стоит у открытого окна, разговаривает с провожающим ее мужчиной и даже не пытается подвинуться, чтобы сосед по купе мог спрятать чемодан, сесть на свое место. Между прочим, у него – нижнее...

– Магда, я умоляю тебя, подумай – донеслось с перрона.

Кто-то низенький, толстенький смешно протягивал к окну руки и говорил, не умолкая:

– Нет-нет, не закрывай окно, позволь договорить. Хотя бы пообещай, что, если пожалеешь, если поймешь, что ошиблась – вернешься.

Женщина молчала. По тому, как напряглась и окаменела ее спина, Федор понял, что возвращаться она не собирается. Спина вдруг показалась такой знакомой, что защемило сердце: словно он уже не раз видел ее застывшую у окна в ожидании... его, Федора? Смешно...

Поезд наконец тронулся. Женщина закрыла окно, не по-

ворачивая голову, опустила на сидение:

– Извини, Федя.

– Ленка? Как ты узнала, ты даже не обернулась в мою сторону?

– Ты забыл, я всегда узнавала твои шаги. И меня зовут Магда, – бросила на столик между ними перчатки, быстро взглянула на Федора и опять стала смотреть в окно.

Цвет ее глаз менялся от времени суток, от настроения. Федору нравилось думать, что от поцелуев ее глаза светлели и становились золотистыми, приобретая коньячный оттенок. Когда-то он готов был без устали пить этот коньяк, пьянея от поцелуев. Но сейчас глаза были темно-карие, спокойные и усталые.

– Почему Магда? – растерялся Сивцов.

– Наверное потому, что к этому имени невозможно приделать суффикс «к», – низкие бархатные нотки в ее голосе, как когда-то прежде, опять взволновали Федора.

– Ты ни разу не заглянул ко мне в паспорт: мама назвала меня Магдаленой. Такое романтическое имечко... В детстве я его стеснялась, вот и звали все Ленкой, а потом... Новая жизнь – новое имя.

Что она так внимательно рассматривает в окне? Черное небо, быстро мелькающие огни полустанков, убегающие точки звезд... Или отражение двух профилей: мужского и жен-

ского... Она изменилась: коротко постригла волосы, перекрасилась в блондинку, обтягивающее трикотажное платье с достоинством демонстрирует фигуру зрелой женщины. Вот, пожалуй, что в ней новое: независимость и уверенность в себе...

Сняла сапоги, облокотившись на стенку, подтянула ноги на сиденье, накрыла одеялом.

– Может, мне выйти? Переоденешься?

– Спасибо, пока нет. Просто ноги замерзли.

Федор вспомнил: у нее в любую погоду мерзли ноги. Он грел их руками и поцелуями.

– Не думай, я не пьян.

Сказал и тут же разозлился на себя: с какой стати оправдывается.

– Всего лишь отметили презентацию книги.

Теперь, получается, еще и хвастается. Все невпопад.

– Закажи, пожалуйста, чай.

Из открытой сумочки выглянула суперобложка его новой книги. Значит, была на презентации, но к нему не подошла. Или он ее не узнал...

Федор долго курил в тамбуре, а когда вернулся с двумя стаканами чая в руках, показалось, что Магда уже спит.

Выпил остывший чай, не раздеваясь, лег на спину, подложил руки под голову. Когда Ленка ушла, решил: значит, не судьба. Не останавливаясь, писал рассказ за рассказом, встречаясь с приятелями много пил, наслаждаясь свободой

и тем, что не надо спешить домой. Пока однажды не понял: дома больше нет. Ленка, которая так раздражала его своим постоянным ожиданием, и была его домом. А когда некому стало ждать, от дома осталась только пустая, холодная комната.

Он пытался понять, почему она ушла, и не находил ответа.

Сейчас это все уже не имело значения. Отчего же вдруг так захотелось укорить ее, сказав: «Я любил тебя...». Не сказал.

Магда не спала. Отвернувшись к стенке, она тоже перебирала обиды. Если бы он сказал, что любил, она бы ответила: – Ты думал только о своих героях. Тех, о которых писал. На живых людей, которые были рядом, у тебя вечно не хватало времени. Я больше так не могла...

Федор пересел бы к ней, взял за руку:

– Неправда, Лен. Я считал тебя своей женой.

– Я – Магда! – ответила бы она. – Это Ленка ждала тебя, когда бы ты ни вернулся, и какой бы ни вернулся. Считал... Тебе даже в голову не приходило, что я оставалась женой Ивана: ты же плевал на условности. Ты считал: я думаю так же. Вот только ни разу не спросил об этом меня. А еще... я устала гадать: вернешься ли ты сегодня трезвым...

Он разозлился бы, спросил:

– Что же ты бросила того, трезвого, который был на пер-

роне? Тот толстый, похожий на рыбу с золотым зубом из старого сна, лучше меня?

Может быть, она рассмеялась бы. Может, призналась бы, что поняла главное: ее дом – там, где он, и едет она к нему. Может...

Они ничего не сказали друг другу.

Поезд пришел в родной город утром. На вокзале Федор помог Магде поймать такси, вот только ехать было некуда. Ленка бы на ее месте расплакалась, глаза Магды остались сухими: она давно не позволяла себе слез.

– Федь, а помнишь, как мы с тобой спустили с лестницы мужика, который приперся за Магдой? – расхохотался вдруг младший Горюхин.

– Потом оба сидели в полиции, и Магда примчалась вас выручать, – добавил Горюхин старший. – Федорыч, ты что? Нехорошо тебе?

Федор Федорович вдруг почувствовал себя очень легким. Словно всколыхнулась душа, да прихватив тело, взлетела... Сверху-то все лучше видно. Двор, в котором вырос, и в который всегда возвращался; лес, тихая речка в деревне деда, куда после смерти бабушки все собирался, да так ни разу и не съездил; первая ночь с Ленкой и хриплые крики соек; море, такое любимое и такое далекое...

И еще почему-то ранней весной пахнет. Так не бывает, не должно быть: осень поздняя свои ароматы на распродажу выставила: прелые листья, затяжной дождь, надвигающийся снег... Что угодно, только не первые ландыши, не проталины в весеннем лесу... Или? Может, кто-то там, наверху, решил позволить ему начать все сначала? Чтобы еще раз испытать границы отмеренного судьбой? Чтобы на этот раз понять, что счастье – в нас самих, надо только не расплескать его...

– Э-эх, размечтался, – прозвучали голоса рядом, – здесь получают то, что заслужили, а не то, что хотят.

– Жил, как умел, – огрызнулся Сивцов, – вы кто такие, чтобы судить?

– Никто они тебе, теперь уже совершенно никто, – рассмеялась рыба с золотым зубом, пролетая мимо, – всего лишь твои неиспользованные возможности.

Перед глазами возникла застывшая у окна Магда, подумалось: «Опять не дождется меня. За что же с ней так...».

Одуванчики на взлётной полосе

Казалось, девочка Таня родилась для полетов. Неважно: яркой экзотической бабочкой или ажурной снежинкой. Главное – парить в воздухе, ловить то взметающие в небеса, то ниспадающие почти до самой земли воздушные потоки, порхать с одного на другой, наслаждаться легкостью, невесомостью души и тела...

Но летала только душа. Тело свое Татьяна ненавидела. Собственно, тела как такового и не было. Вместо него – что-то скрюченное, бесформенное, которое приходилось таскать за собой. Искать виноватых – бессмысленно. Просто данность, с которой нужно смириться и жить. Нет, конечно, иногда роптала, кричала навзрыд: «За что мне страданья?». В мансарде под крышей ей отвечало эхо: не то «в назиданье», не то «пожеланье»... а может, «созданье». Чужие слова не разборчивы, когда сжигает своя боль.

Как стала писательницей – Татьяна сама не знала. Когда-то попала на гребень модной волны, а когда волна откатилась – сумела остаться. У нее были сильные руки, способные удерживаться за самые крохотные зацепки, а, чтобы не слиться с морской пеной, хватало воображения, страстной любви к слову и терпения. Все равно ничего другого делать она не умела.

Когда-то очень давно, когда была жива тетка, Татьяна побывала на выставке кукол. Раскрасневшаяся в душном помещении, в расстегнутом клетчатом пальто до пола и сбившемся набок платке, тетка толкала перед собой инвалидную коляску со скорчившейся девочкой, захлебываясь от восторга: «Смотри, Танюша, какая замечательная кукла. А эта тебе нравится? А эта?» ...

Словно в эти куклы можно было играть. Разве может нравиться разодетая красавица с широко раскрытыми глупыми глазами на фарфоровом лице, к которой нельзя прикоснуться? Таня придумала свою игру: мысленно раздевая кукол, наслаждалась их одинаковостью, выискивала у каждой в лице или позе то, на чем можно было сыграть, словно на дудочке крысолова, чтобы увести в тот мир, где хозяйкой была она.

Этот же прием она использовала позже в своих романах. Заманить красотой и прелестью своих героинь, а потом раздеть их догола, показав все то, что прячется под мишурой и блеском. Не ново? Конечно. Но, наверное, людям нравилось читать и думать, что они не хуже ее героинь, а может, даже и лучше: добрее, искреннее... Лстить себе так приятно.

К псевдониму «Георг Ястребцов» Татьяна привыкла настолько, что мысленно говорила о себе: «Ястребцов решил, Ястребцов написал» ... И действительно, те немногие, с кем она снисходила до общения, удивлялись ее сильному мужскому характеру, не догадываясь, как летала по ночам жен-

ская душа, покинув опостылевшее тело.

Эти ночные полеты... Она и стыдилась их, и не могла приказать душе не летать: столько в них было первозданной радости, от которой колотилось сердце, пересыхали губы, а в животе начинали порхать бабочки. Про бабочек она вычитала в какой-то дурацкой книжке. Описывая страсти своих героев, она никогда бы не опустила до такого пошлого сравнения, но для себя почему-то другого не находилось.

Все на той же выставке кукол (случай, когда приходилось выходить из дома, Татьяна помнила наперечет) рыжий парень в черной кожаной куртке пригласил посетителей посмотреть механические игрушки. Конечно, тетка, расталкивая всех, ринулась вперед, и коляска оказалась почти вплотную прижата к стенду. Парень с видом фокусника вращал рукоятки шкатулок: гимнасты крутились на трапеции, бедный Йорик заливал зрителей слезами, девочка качала мишку с оторванной лапой, а деревенский простак исполнял ирландский танец. Это, последнее, было самым отвратительным: туловище, нацепленное на спицу, то поднималось вверх, то опускалось, нитяные ножки в деревянных сабо нелепо болтались в воздухе, изображая танец. Как ни странно, она злилась не на парня, приводящего кукол в движение, а на их автора, деда Юрана, как было написано на этикетке.

– Мы еще не были на втором этаже, – вдруг вспомнил кто-то.

И, отвернувшись от простака, нанизанного на спицу, народ устремился по ступенькам вверх. Татьяна не запомнила работ художника, чьи картины были там выставлены, в памяти осталось только яркие пятна, которые должны были что-то изображать и фраза:

– Вот так и мы. Суетимся, а главного в жизни не замечаем.

– Что же в ней главное? – спросил парень в куртке.

Тетка, опустив глаза на коляску, театрально выдохнула:

– Обездоленные.

В тот момент Тане ужасно захотелось убить тетку. Позже она почти в каждом романе так и поступала, разными способами убивая героинь, прототипом которых служила ее тетка. Неплохая, в сущности, женщина, взвалившая себе на плечи обузу – растить сироту инвалида, но так и не научившаяся не ранить при этом детское сердце.

На второй этаж выставки мужчины подняли коляску легко, а когда надо было спускаться, посетители разбрелись, и рядом оказался лишь все тот же парень в куртке, на которого Таня и взглянуть-то боялась.

Не спрашивая разрешения, он легко подхватил девочку на руки и понес, предоставив тетке возможность спускаться по ступенькам. Тане казалось: не только ноги, но и голова у нее болтается как у механической куклы, нанизанной на спицу. Голову она пыталась всеми силами удержать, чтобы не прислонялась к черной куртке, пахнувшей то ли мужским одеколоном, то ли хорошим табаком: негде было

научиться Тане разбираться в этих запахах. Но щека раз за разом прижималась к шершавой коже, вдыхая и запоминая аромат мужчины. Парень посадил Таню в коляску, широко улыбнулся, дурашливо подмигнул. Ни брезгливости, ни отвращения, которых Таня так боялась, она не заметила, но все равно не могла простить непрощенного прикосновения.

Спустя годы почти в каждом романе парень этот становился прототипом главного героя, и, мстительно щурясь, Татьяна наказывала его, сама, впрочем, не очень понимая, за что. Он обязательно влюблялся не в добрую девушку, которая любила его, а в красивую стерву и обманутый, наивный погибал, страдая. Побеждал в романах brutальный мужчина, в образе которого Татьяна неизменно видела деда Юрана, приучающего кукол лаской или угрозами дергаться в соответствии с его желаниями.

Георг Ястребцов тоже умел дергать своих кукол за веревочки. «Униженных и оскорбленных» уже написал Достоевский. Ястребцова ни первые, ни вторые не интересовали. Его героини были самодостаточны, ироничны к себе и другим, умело скрывали пренебрежение к униженным и, не задумываясь, могли оскорбить любого, добиваясь поставленной цели.

Татьяна понятия не имела о том, как живут те, кто считается элитой общества, поэтому без зазрения совести списывала их быт с «Человеческой комедии» Бальзака. В конце

концов, авантюристы во все века остаются авантюристами, политики – проходимцами, журналисты – карьеристами, а светские красавицы не бывают святыми. Интерьеры их квартир она подсматривала в музеях, благо это было нетрудно найти в интернете, а описания роскоши тусовок и светских раутов со временем стали так удаваться, что известные люди обращались к дизайнерам и организаторам вечеринок с просьбой сделать «как у Ястребцова».

Только однажды образ героини не задался... Главным героем как обычно был тот парень в куртке. На этот раз – талантливый и, что не тривиально, честный журналист, образцовый семьянин, отец двух детей, в общем, картинка, на которую можно было бы молиться, если бы не тридцать три несчастья, постоянно случавшиеся либо с ним, либо с теми, кто был рядом. Источником всех несчастий была Она. Элегантная, раскованная, ироничная и сексуальная – полная противоположность серой мышке, какой казалась жена героя. Мышка, впрочем, была из породы хищников, Ястребцов умел и любил писать таких. А вот героиня не получалась. Наверное, потому, что Татьяна на этот раз слишком многое знала о ней.

Знала, что когда-то будущий журналист и будущая соблазнительница вместе учились и нравились друг другу, хотя за годы учебы не произнесли ни единого слова любви. Он рано понял, что выигрывает в глазах девчонок не фирмовым

пиджачком, наброшенным на черный гольф, а когда снимает с себя все ненужные тряпочки, и потихоньку проверял на однокурсницах свою мужскую привлекательность. Лишь для нее почему-то делал исключение. А она... она долго оставалась нецелованной девочкой, которой нравились его ямочки на щеках. Всего-то раз за пять лет и сходили вместе в кино. Она весь сеанс водила пальцем по его ладони, нащупывая бугорки мозолей, он хотел поцеловать ее, но так и не сделал этого.

Татьяна не задумывалась о том, откуда к ней пришло это знание. Знала, и все. Беда была в том, что знание мешало сделать из героини коварную соблазнительницу, способную взять силой то, что когда-то было утеряно: как оказалось, память о ямочках на щеках за два десятка лет не угасла.

– Ты всего лишь красивая кукла, – твердила Татьяна своей героине, – такая, как все.

Но бывшая девочка, ставшая по задумке автора роковой женщиной, почему-то своевольничала и хотела любви, а не секса.

В интернет-магазине Татьяна выбрала авторскую куклу с надменным выражением лица. Вечером курьер привез две коробки:

– Тут ваш заказ, а тут – бонус за покупку самой дорогой куклы.

Всю ночь в окошке мансарды горел свет. Забыв о сне, Татьяна не отрывалась от ноутбука: героя приглашают на шикарную яхту, пообещав интервью, которого он давно добивался, по заданию редакции он следует за сильными мира сего в Швейцарию и застревает в кабине уникального горнолыжного подъемника с вращающимся стеклянным полом. Пусть подъемники Швейцарии на протяжении последних двухсот лет ни разу не ломались, автора не интересовали такие мелочи. Зато каждый раз рядом с героем оказывалась женщина: притягательная, эрудированная, чувственная. Под созвездиями южного неба или над вершинами огромных швейцарских елей работа, незаконченные дела, семейные проблемы – уходили прочь, оставались лишь мужчина и женщина, которых неудержимо влекло друг к другу.

Под утро к написанному добавился загоревшийся при посадке самолет и двое чудом спасшихся пассажиров.

«Тут уже и святой потеряет голову, решив, что от судьбы не уйдешь», – Татьяна подмигнула кукле, всю ночь простоявшей рядом с ноутбуком, растерла затекшие плечи и, крутанув колеса коляски, подъехала к шкафчику в углу мансарды: здесь она прятала кофе «на черный день». Нельзя, конечно, с ее давлением, но плевать на запреты врачей, раз они не могут помочь в главном.

Герой романа и мысли не допускал, что в этот момент судьба в лице Георга Ястребцова смеялась над ним, а серая

мышка – жена собиралась на свидание к деду Юрану, который по замыслу автора на этот раз оказался главным редактором солидной газеты и сознательно отправлял героя в престижные командировки «подальше», чтобы не мешал развивающемуся роману...

Хороший кофе – слабость сильной женщины. Мелкий бакалейщик из Турина Луиджи Лавацца был бы доволен: спустя почти сто лет после его смерти в небольшой мансарде далекой страны жила страстная почитательница, разбиравшаяся в тонкостях вкуса и аромата кофе не хуже, чем он сам. На этот раз она выбрала сорт Gran Riserva: семьдесят процентов зерен арабики, тридцать – робусты. Татьяна любила по утрам именно этот, немного кисловатый, но не горький напиток.

Решив, что заслужила перерыв, Татьяна открыла вторую привезенную курьером коробку. Бонус – как бонус: еще одна кукла. Светлые выющиеся волосики, голубые глаза, простенькое круглое, ангельское лицо. Впрочем, кажется, это и есть ангел. Длинные широкие брюки сидят «мешком», светлый шерстяной свитер под горло, шарфик, и – неожиданно – за спиной вывязанные крючком крылья.

«Смешной какой, домашний ангел, – Татьяна бросила бонус на подоконник и опять потянулась к ноутбуку, хотя глаза сами стали закрываться, – не помог кофе, попробую поспать, хоть немного».

Когда проснулась, ангел стоял рядом с куклой, вдруг утратившей надменный вид, и выжидающе смотрел на Татьяну.

– Ты тоже из породы фокусников? – усмехнулся Георг Ястребцов, – ладно, стой где хочешь...

Человека, поджигающего самолет ради того, чтобы герой мог наконец нарушить супружескую верность, такие мелочи смутить не могли.

Минут через двадцать на экране ноутбука появилось: «Должен же я хоть что-то хорошее сказать о себе. Я тоже помню, как мы были с тобой в летнем кинотеатре (а вот фильма не помню), помню твой голос и твою ладошку в моей руке. Я, с присущей мне «скромностью», прекрасно знал, что могу поцеловать тебя (я тогда уже много чего знал). Но, тихо гордясь своей порядочностью, вел себя сдержанно. Идиот. Знаешь, не одна ты вспоминаешь о том времени, я о нем думал уже тысячу раз – черт бы побрал мою «порядочность». Господи, я не хочу исправлять ошибки «в будущей жизни» (или в следующей?), ведь тебя там, любимая моя, может и не оказаться».

Татьяна, изумленная, несколько раз перечитала текст. Что за чушь? Ее герои сейчас должны в vip-апартаментах сочинской гостиницы позволить себе все, на что только хватит фантазии автора, а тут... какая-то записка, чье-то письмо,

розовые сопли... Кого это может зацепить, чье сердце тронуть?

С удивлением Татьяна ощутила, как забилося ее собственное сердце. Так бывало лишь во время ночных полетов, но сейчас ведь день... Откинулась на спинку коляски, закрыла лицо руками.

Она знала все об этих двоих. Об их неумелой любви, о несбывшемся счастье, пришедшем слишком поздно... И что? Не будет она об этом писать! Слишком банально: в молодости не сложилось, нашли друг друга в интернете спустя много лет, завязалась переписка, придумали себе любовь... В конце концов, «Одиночество в сети» уже тоже написано...

– Скажи еще, что про любовь все написано, – тихонько буркнул кто-то рядом.

Татьяна с подозрением глянула на стоящих рядом кукол: кроме нее в мансарде точно никого не было. Да нет, померещилось... Усмехнулась: напиши она эту историю, критики точно скажут: «Ястребцов исписался»...

Ястребцов промолчал, а Татьяна, помедлив, потянулась к клавиатуре: она только попробует. Лишь одно письмо из нескольких сотен...

«Лет десять назад весной я случайно оказался на заброшенном военном аэродроме под Тамбовом. Хороший, наверное, был когда-то аэродром: громадная бетонная полоса уходила к лесу. Чтобы скоротать время, пошел по полосе и

вдруг увидел: прямо посередине полосы растут два желтеньких одуванчика. Пробились сквозь бетон толщиной около восьмидесяти сантиметров...

Знаешь, когда стоишь на взлетной полосе, и вокруг ни души, чувствуешь себя таким маленьким... А одуванчикам – не страшно. Пробили, просверлили, протиснулись через бетон и стоят рядом, головками касаются друг друга. Трудно им на бетоне, на опушке леса было бы гораздо лучше, но что есть, то и есть. Мне кажется, они все равно не жалели, что пробились к солнышку. Как думаешь, любимая?

Какими все-таки странными и неразумными бывают живые существа. Вот эти одуванчики. Ну почему бы им много-много лет назад не начать расти вместе на опушке леса? Нет, лежали в глубине зернышками под толстым слоем бетона, прислушивались, как с ревом и пламенем садились и взлетали штурмовики, а когда все затихло... почему-то ожили и стали ломать бетон, чтобы хоть чуточку постоять рядом на солнышке. Глупые создания, совсем не по-дарвиновски себя ведут.

Родная, когда мы с тобой сидели в кинотеатре, ты знала, что умеешь пробивать бетон?»

Новый роман Ястребцова успехом не пользовался. Ведущие литературные обозреватели его не заметили, коллеги, сидя за столиками ресторана Дома литераторов, с удовольствием судачили: «Исписался наш романист». Лишь жена

одного литературного критика, подвизавшегося в известном толстом журнале, в чью семейную повинность входило чтение новинок, дабы не упустил муж что-то важное, заметила: «Ястребцов твой подобрел».

А Татьяна наслаждалась полетом. Всегда прищуренные карие глаза широко распахнулись, обычно крепко сжатые красиво очерченные губы приоткрылись в неуверенной улыбке, ветер словно паруса раздувал длинные русые волосы. Татьяне казалось: она наконец узнала, что в жизни главное.

Впереди, указывая дорогу, летел ангел в смешных широких брюках. Они улетели так далеко, что свет в окне мансарды превратился в такую же светящуюся точку как звезды, но кукла, стоящая на подоконнике, по-прежнему махала им вслед.

В оформлении обложки использована фотография с <https://pixabay.com/> по лицензии СС0.